

ПЕРРИ АНДЕРСОН

РОДОСЛОВНАЯ  
АБСОЛЮТИСТСКОГО  
ГОСУДАРСТВА



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Перри Андерсон

**Родословная  
абсолютистского государства**

«Территория будущего»

2010

## **Андерсон П.**

Родословная абсолютистского государства / П. Андерсон —  
«Территория будущего», 2010

Политический характер абсолютизма на протяжении долгого времени был предметом споров среди историков. Развивая идеи, выдвинутые в предыдущей работе («Переходы от античности к феодализму»), выдающийся англо-американский историк Перри Андерсон рассматривает обстоятельства возникновения абсолютистских монархий из кризиса феодализма.

Отталкиваясь от тезиса о том, что абсолютистские монархии представляли собой попытку воссоздания феодального государства для защиты интересов правящего класса, автор прослеживает пути различных стран – Испании, Франции, Англии, Италии, Швеции, Пруссии, Польши, Австрии, России, исламского мира и Японии – к рождению национальных государств. В книге показывается отличие западного абсолютизма от восточного и объясняются причины этого различия.

© Андерсон П., 2010

© Территория будущего, 2010

# Содержание

Предисловие	5
I	8
1. Абсолютистское государство на Западе	8
2. Класс и государство: проблемы периодизации	25
3. Испания	35
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Перри Андерсон

## Родословная абсолютистского государства

### Предисловие

Предмет данной работы – попытка сравнительного обзора природы и развития абсолютистского государства в Европе. Его общий характер и пределы как отражение прошлого объяснены в предисловии к исследованию, предваряющему настоящую книгу<sup>1</sup>. К этому можно добавить несколько специальных замечаний об отношении предпринятого в данном томе анализа к историческому материализму. Задуманная как марксистское исследование абсолютизма, предлагаемая работа намеренно расположена между двумя разными планами марксистского дискурса, которые обычно размещаются на значительном удалении друг от друга. В последние десятилетия марксистские историки, авторы впечатляющего корпуса монографий, как правило, не всегда давали себе труд задуматься над теоретическими импликациями, поднятыми в их собственных работах. В то же время философы-марксисты, пытавшиеся разъяснить или решить фундаментальные теоретические проблемы исторического материализма, зачастую делали это в отрыве от специальных эмпирических проблем, поставленных историками. В настоящей работе предпринята попытка занять среднюю позицию между двумя названными. Возможно, она послужит лишь отрицательным примером. В любом случае задача нашего исследования – изучить европейский абсолютизм как в общем, так и в частности; так сказать, как «чистые» структуры абсолютистского государства, представляющие собой базовую историческую категорию, так и «нечистые» варианты, представленные особенными и отличавшимися друг от друга монархиями после-средневековой Европы. Эти два уровня реальности в работах современных марксистов обычно разделены пропастью. С одной стороны, ими конструируются или предполагаются «абстрактные» общие модели – не только абсолютистского государства, но и буржуазной революции или капиталистического государства, без обращения к их различным вариантам; с другой стороны, изучаются «конкретные» локальные случаи, без ссылок на их взаимные последствия и взаимосвязь. Условная дихотомия между этими процедурами происходит, несомненно, из широко распространенного мнения, что умопостижаемая необходимость существует только на уровне наиболее общих и широких исторических тенденций, которые действуют, так сказать, «поверх» эмпирических обстоятельств, специфических событий и институтов, сюжет или облик которых обычно непредсказуем. Научные законы – если вообще признается их наличие – считаются действенными только для наиболее универсальных категорий; единичные объекты относятся к области случайного. Практическим результатом этого разделения становится часто то, что общие концепты – такие как абсолютистское государство, буржуазная революция или капиталистическое государство – оказываются настолько далекими от исторической действительности, что теряют всякое объяснительное значение; конкретные же исследования, ограниченные определенными географическими или временными рамками, напротив, не способны привести ни к каким теоретическим обобщениям. Посылкой данной работы является мое убеждение, что не существует непреодолимой черты между необходимостью и случайностью в историческом объяснении, которая бы отделяла друг от друга разные типы исследования – «долгосрочное» от «краткосрочного» или «абстрактное» от «конкретного». Есть только то, что известно – установлено историческими исследованиями, и то, что неизвестно; причем последнее может быть как механизмом отдельного события, так и законами движения целых структур. Оба варианта равно поддаются, в

---

<sup>1</sup> Переходы от античности к феодализму.

принципе, адекватному анализу их причин. (На практике сохранившееся историческое свидетельство часто бывает настолько недостаточным или противоречивым, что определенное суждение невозможно; однако это другая проблема – обеспеченность источниками, а не умопостигаемость.) Одна из главных причин предпринятого здесь исследования кроется, таким образом, в попытке совместить два уровня рефлексии, которые часто были неоправданно разведены в работах марксистов, ослабляя их способность к рациональному теоретизированию в области истории.

Масштаб предлагаемого ниже исследования отмечен тремя аномалиями или расхождениями с ортодоксальным подходом к предмету. Во-первых, гораздо более длинная родословная линия абсолютизма, очевидная уже в работе, послужившей прологом к настоящей книге. Во-вторых, в границах части света, исследуемой на этих страницах, – Европы – предпринята систематическая попытка эквивалентного исследования ее западной и восточной частей, как это было сделано и в предшествовавшем анализе феодализма. Это не что-то само собой разумеющееся. Хотя разделение на Западную и Восточную Европу представляется интеллектуальным общим местом, оно редко было предметом прямой и непрерывной исторической рефлексии. Последний урожай серьезных работ по европейской истории до некоторой степени исправил традиционный геополитический дисбаланс западной историографии, с характерным для нее невниманием к восточной части Европы. Но до разумного равновесия еще далеко. Более того, необходим не столько простой паритет в освещении двух регионов, сколько сравнительное объяснение их разделения, анализ различий и динамики их взаимосвязей. История Восточной Европы – вовсе не жалкая копия истории Запада, которую можно было бы просто добавить сбоку, не повлияв на изучение последней. Развитие более «отсталых» регионов континента бросает непривычный свет на более «развитые» регионы и часто обнаруживает в их истории новые проблемы, скрытые при ограниченной чисто западной интроспекции. Поэтому, вопреки обычной практике, вертикальное разделение континента между Западом и Востоком проведено в нашем исследовании как центральный организующий принцип изучения материала. В каждой из зон, конечно, всегда существовали большие общественные и политические вариации, и они исследуются и сопоставляются сами по себе. Цель этой процедуры – предложить региональную *типологию*, которая поможет уточнить расходящиеся траектории главных абсолютистских государств как в Восточной, так и в Западной Европе. Такая типология станет, пусть только в виде плана, именно тем промежуточным концептуальным уровнем, которого так часто не хватает в пространстве между общими теоретическими конструкциями и частными случаями-историями, в исследованиях абсолютизма, как и много другого.

В-третьих и последних, выбор *предмета* этого исследования – абсолютистского государства – определил периодизацию, непохожую на обычную для историографии. Традиционные рамки историописания обычно ограничиваются одной страной или узким периодом. Подавляющее большинство квалифицированных исследований проводится строго в рамках национальных границ, и, если работа пересекает их для придания международной перспективы, в ней обычно ограничиваются временные рамки исследуемой эпохи. В любом случае историческое время не представляет проблемы: и в «старомодном» нарративе, и в «современных» социологических исследованиях события и институты погружены в единую и гомогенную темпоральность. Хотя все историки знают, что скорость перемен различается в разных слоях или секторах общества, удобство и привычка обычно диктуют, чтобы форма работы предполагала или предполагала хронологический монизм. Иными словами, его материалы рассматриваются так, будто они разделяют общее начало и общий конец, протянувшись на один и тот же отрезок времени. В нашем исследовании не существует такой единой темпоральности, поскольку *времена* основных абсолютизмов Европы – как Западной, так и Восточной – были чрезвычайно разными, и это различие само по себе играло важную роль в природе этих государственных систем. Испан-

ский абсолютизм потерпел свое первое серьезное поражение в XVI в. в Нидерландах; английскому абсолютизму снесли голову в середине XVII в.; французский абсолютизм существовал до конца XVIII в.; прусский абсолютизм дожил до конца XIX в.; русский абсолютизм был свергнут только в XX в. Широкий разрыв в датировке этих больших структур неизбежно соотносился с глубокими различиями в их составе и эволюции. Поскольку специальный объект этого исследования составляет весь спектр европейского абсолютизма, то его не покрывает никакая общая темпоральность. История абсолютизма имеет много пересекающихся начал и разрозненных оборванных концов. Лежащее в его основе единство – реально и глубоко, но оно не составляет линейный континуум. Комплексное развитие европейского абсолютизма с его многочисленными разрывами и смещениями от региона к региону лежит в основе изложения исторического материала в этой книге. Здесь опущен весь цикл процессов и событий, которые предопределили триумф капиталистического способа производства в Европе после эпохи раннего Нового времени. Первая буржуазная революция случилась хронологически задолго до последних метаморфоз абсолютизма. Для целей нашей работы они остаются категорически в будущем и будут рассмотрены в следующем исследовании. Следовательно, такие феномены, как первоначальное накопление капитала, начало религиозной реформации, формирование наций, экспансия заморского империализма, начало индустриализации, формально вписывающиеся в хронологические рамки исследуемых нами «периодов и являющиеся современными по отношению к разным фазам европейского абсолютизма, не обсуждаются нами и не исследуются. Их даты – те же. Их времена – различны. Чужая и смешанная история последовательных буржуазных революций нас здесь не интересует: настоящая книга ограничена природой и развитием абсолютистских государств, их политическими предшественниками и противниками. Два последующих исследования будут специально посвящены, в свою очередь, цепи великих буржуазных революций, от восстания Нидерландов до объединения Германии, и структуре современных капиталистических государств, которые в конце концов появились после долгой эволюции. Некоторые из теоретических и политических аргументов, выдвигаемых в этом томе, станут полностью ясны в этих продолжениях.

Наконец, надо, видимо, объяснить выбор *Государства* как центральной темы исследования. Сегодня, когда «история снизу» стала паролем как в марксистских, так и в немарксистских кругах и уже привела к серьезным достижениям в нашем понимании прошлого, надо, тем не менее, вспомнить одну из базовых аксиом исторического материализма: что вековая борьба между классами в конце концов разрешается на *политическом*, а не на экономическом или культурном уровне общества. Другими словами, именно создание и разрушение государств закрепляет фундаментальный сдвиг в отношениях производства до тех пор, пока существуют классы. «История сверху» – история замысловатых механизмов классового господства – не менее существенна, чем «история снизу». В самом деле, без нее последняя остается односторонней (пусть это и лучшая сторона). Вспомним по этому случаю слова Маркса: «Свобода состоит в переходе государства от органа, навязанного обществу, к полностью подчиненному ему, и сегодня также формы государства более или менее свободны в зависимости от того, ограничена ли „свобода“ государства». Полная отмена государства остается век спустя одной из целей революционного социализма. Но высшее значение, придаваемое его конечному исчезновению, свидетельствует о весе его присутствия в истории. Абсолютизм, как первая международная государственная система современного мира, еще не выдал нам всех своих секретов или уроков. Цель настоящей работы – внести вклад в обсуждение некоторых из них. Ее ошибки, заблуждения, недосмотры, описки, иллюзии остаются открытыми для критики в ходе коллективного обсуждения.

# I

## Западная Европа

### 1. Абсолютистское государство на Западе

Длительный кризис европейской экономики и общества, разразившийся в XIV–XV вв., сделал очевидными проблемы, с которыми столкнулся феодальный способ производства в период позднего Средневековья<sup>2</sup>. Каким был окончательный *политический* итог континентальных конвульсий той эпохи? В течение XVI в. на Западе утверждалось абсолютистское государство. Централизованные монархии Франции, Англии и Испании пошли на решительный разрыв с «пирамидами» раздробленного суверенитета средневековых общественных формаций, с их поместной и вассальной системами. Споры об исторической природе этих монархий не утихают со времен Энгельса, который в знаменитом выражении назвал их продуктом классового равновесия между старой феодальной аристократией и новой городской буржуазией: «В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII–XVIII вв., которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга...»<sup>3</sup>. Множественные оговорки этого пассажа указывают на определенные концептуальные колебания Энгельса. Но, бросив внимательный взгляд на другие тексты Маркса и Энгельса, становится ясно, что именно эта концепция абсолютизма была постоянной темой их работы. Энгельс повторил этот же основной тезис в другом месте в более категоричной форме, отметив, что «базовым условием старой абсолютной монархии» было «равновесие между землевладельческой аристократией и буржуазией»<sup>4</sup>. В самом деле, определение абсолютизма как политического балансира между аристократией и буржуазией часто склоняется к имплицитному или эксплицитному описанию его как буржуазного в своих основаниях государства. Этот сдвиг особенно очевиден в самом «Манифесте коммунистической партии», в котором политическая роль буржуазии «в период мануфактуры» охарактеризована одной фразой как «противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще»<sup>5</sup>. Показательно, как авторы здесь незаметно переходят от «противовеса» к «главной основе», что отзывается эхом и в других текстах. Энгельс мог отзываться об эпохе абсолютизма как о времени, когда «феодальная аристократия начала понимать, что период ее социального и политического господства пришел к концу»<sup>6</sup>. Маркс, со своей стороны, постоянно утверждал, что административные структуры новых абсолютистских государств были непосредственно буржуазным инструментом. «При абсолютной монархии, – писал он, – бюрократия была лишь средством подготовки классового господства буржуазии». В другом месте Маркс утверждал, что «централизованное государство, с его вездесущими органами постоянной армии, полиции, бюрократии, духовенства и суда – органами, созданными по плану систематического и иерар-

---

<sup>2</sup> См. обсуждение этого вопроса в моей книге *Passages from Antiquity to Feudalism* (London, 1974), которая предшествует данному исследованию.

<sup>3</sup> Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Marx-Engels. Werke. Bd. 21. Berlin, 1962. S. 167.

<sup>4</sup> Zur Wohnungsfrage // Ibid. Bd. 18. S. 258.

<sup>5</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Marx-Engels. Selected Works. Moscow, 1968. P.37; Werke, Bd. 4. S. 464.

<sup>6</sup> Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie // Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 398. «Политическое» господство в процитированной фразе означает государственное, Staatliche.



хического разделения труда, – появилось во времена абсолютной монархии, служившей новорожденному среднему классу в качестве могучего оружия в его борьбе против феодализма»<sup>7</sup>.

Эти размышления об абсолютизме были более или менее случайными и иносказательными – основатели исторического материализма не теоретизировали специально о новых централизованных монархиях, появившихся в ренессансной Европе. Оценка их точного веса была оставлена на суждение будущих поколений. Марксистские историки, фактически, спорят о социальной природе абсолютизма до наших дней. Правильное решение этой проблемы, в самом деле, жизненно важно для понимания как перехода от феодализма к капитализму в Европе, так и политических систем, сопутствовавших этому переходу. Абсолютные монархии создали постоянные армии, бюрократию, ввели налогообложение в масштабах всей страны, кодифицированное законодательство и начала общего рынка – все это характеристики капитализма. Поскольку они совпали с исчезновением крепостного права, стержневого института феодального способа производства в Европе, то и описание абсолютизма Марксом и Энгельсом как государственных систем, представлявших собой либо баланс между буржуазией и аристократией, либо даже прямое господство капитала выглядело правдоподобным. Более тщательное исследование структур абсолютистского государства на Западе, однако, неминуемо ослабляет такое впечатление. Дело в том, что конец крепостничества не означал исчезновения феодальных отношений из села. Отождествление двух процессов – частая ошибка. И все же очевидно, что частное внеэкономическое принуждение, личная зависимость и соединение непосредственного производителя со средствами производства вовсе не обязательно исчезли, когда сельские излишки перестали извлекаться в форме труда или оброка и превратились в денежную ренту. До тех пор пока аристократическая аграрная собственность блокировала свободный рынок земли и фактическую мобильность работников, – другими словами, пока труд не был отделен от социальных условий, для того чтобы стать «рабочей силой», – отношения производства на селе оставались феодальными. Сам Маркс в теоретическом анализе земельной ренты в «Капитале» ясно сформулировал это: «Превращение отработочной ренты в продуктовую ренту, если рассматривать дело с экономической точки зрения, ничего не изменяет в существе земельной ренты. <...> Под денежной рентой мы понимаем здесь <...> земельную ренту, возникающую из простого превращения формы продуктовой ренты, как и она сама, в свою очередь, была лишь превращенной отработочной рентой, <...> базис этого рода ренты, хотя он и идет здесь навстречу своему разложению, все еще остается тот же, как при продуктовой ренте, образующей исходный пункт. Непосредственный производитель по-прежнему является наследственным или вообще традиционным владельцем земли, который должен отдавать земельному собственнику как собственнику существеннейшего условия его производства избыточный принудительный труд, то есть неоплаченный, выполняемый без эквивалента труд в форме прибавочного продукта, превращенного в деньги»<sup>8</sup>.

Феодалы, которые оставались собственниками основных средств производства в любом доиндустриальном обществе, были, конечно, родовитыми землевладельцами. На протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующим классом, как в экономике, так и в политике, оставался *тот же самый класс*, что и в Средневековье: феодальная аристократия. Эта аристократия претерпевала глубокие метаморфозы на протяжении веков после окончания

<sup>7</sup> Первая формула из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (Selected Works. P. 171); вторая – из «Гражданской войны во Франции» (Selected Works. P. 289).

<sup>8</sup> Маркс К. Капитал: критика политической экономии Т. 3. М., 1985. С. 863–867. Описание Доббом этого фундаментального вопроса в его «ответе» Суизи в ходе знаменитых дебатов в пятидесятые о переходе от феодализма к капитализму было колким и ясным: Science and Society. Vol. 14. N 2. Spring 1950. P. 157–167, особенно P. 163–164. Теоретическая важность проблемы очевидна. В случае с такой страной, как Швеция, например, стандартные исторические работы до сих пор заявляют, что там «не было феодализма» на том основании, что там не было крепостного права. На самом деле, феодальные отношения господствовали в сельской местности Швеции в позднесредневековую эпоху.

Средневековья; однако от начала и до конца истории абсолютизма она не теряла политической власти.

Изменения *форм* феодальной эксплуатации, происходившие в конце феодальной эпохи, были, конечно, очень значительными. В самом деле, именно эти перемены изменили формы государства. Абсолютизм был по своей сути именно *перенацеленным и перезаряженным* аппаратом феодального господства, созданным для того, чтобы вернуть крестьянские массы на их традиционные социальные позиции – несмотря на и вопреки тем приобретениям, которые они получили в результате замещения повинностей. Другими словами, абсолютистское государство никогда не было беспристрастным арбитром в спорах между аристократией и буржуазией, еще меньше причин назвать его инструментом в руках новорожденной буржуазии против аристократии: на самом деле оно было новым политическим щитом, отбивающим удары, направленные против благородного сословия. Консенсусное мнение целого поколения историков-марксистов, от Англии до России, суммировал Хилл 20 лет назад: «Абсолютная монархия была особой формой феодальной монархии, отличавшейся от сословно-представительной монархии, которая ей предшествовала; однако правящие классы оставались теми же самыми, точно так же, как республика, конституционная монархия и фашистская диктатура могут быть разными формами правления буржуазии»<sup>9</sup>. Новая форма власти аристократии была, в свою очередь, предопределена распространением товарного производства и обмена в переходных общественных формациях эпохи раннего Нового времени. Альтюссер точно определил его характер: «Политический режим абсолютной монархии – это всего лишь новая политическая форма, необходимая для поддержания феодального господства и эксплуатации в период развития товарной экономики»<sup>10</sup>. Однако нельзя преуменьшать глубину исторической трансформации, связанной с появлением абсолютизма. Напротив, весьма важно ухватить полностью логику и значение той огромной перемены в структуре аристократического государства и феодальной собственности, которая произвела на свет новый феномен – абсолютизм.

Феодализм как способ производства изначально определялся через органическое *единство* экономики и политики, парадоксальным образом распределенное между звеньями цепи раздробленных суверенитетов по всей общественной формации. Институт крепостного права как механизма изъятия излишков соединял экономическую эксплуатацию и политико-юридическое принуждение на молекулярном уровне деревни. Феодал, в свою очередь, обычно был обязан проявлять вассальную лояльность и нести рыцарскую службу для своего сеньора, который считал землю своим исключительным владением. По мере общей замены повинностей на денежную ренту клеточное единство политического и экономического подавления крестьянства серьезно ослабело и угрожало полным распадом (в конце этого пути ждали «свободный труд» и «договор о зарплате»). Таким образом, постепенное исчезновение крепостного права ставило под сомнение классовое господство феодальных хозяев. Результатом стал *сдвиг* политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины – абсолютистского государства. Ослабленное на уровне деревни, оно сконцентрировалось на «национальном» уровне. Результатом стал возрожденный аппарат королевской вла-

<sup>9</sup> Hill C. Comment (on the Transition from Feudalism to Capitalism) // Science and Society. Vol. 17. N 4. Fall 1953. P. 351–. Надо осторожно относиться к словам в этом суждении. Общий эпохальный характер абсолютизма делает любое формальное сравнение с локальными, исключительными фашистскими режимами неуместным.

<sup>10</sup> Althusser L. Montesquieu, Le Politique et l'Histoire, Paris, 1969. P. 117. Я выбрал эту формулировку как недавнюю и репрезентативную. Однако и сегодня встречается вера в капиталистический или квазикапиталистический характер абсолютизма. Пулантас так же опрометчиво классифицирует абсолютистские государства в его во всем остальном хорошей работе Pouvoir Politique et Classes Sociales. P. 169–180, хотя использует неопределенные и двусмысленные фразы. Недавние дебаты о русском абсолютизме в советских исторических журналах также показывают похожие примеры, хотя хронологически они лучше нюансированы; см., например, Аврех А.Ю. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России // История СССР. 1968. Февраль. С. 83–104. Автор считает абсолютизм «прототипом буржуазного государства» (С. 92). Взгляды Авреха были подвергнуты жесткой критике в последовавших дебатах и не были типичными для содержания этой дискуссии.

сти, постоянной политической функцией которого было подавление крестьянских и плебейских масс внизу общественной иерархии. Эта новая государственная машина, однако, была по самой своей природе наделена силой, способной подавлять или дисциплинировать индивидов и группы *внутри* самой аристократии. Установление абсолютизма не было, следовательно, как мы видим, мягким эволюционным процессом для самого господствующего класса: оно было отмечено чрезвычайно резкими разрывами и конфликтами среди феодальной аристократии, чьим коллективным интересам оно в конечном счете служило. В то же самое время объективным дополнением к политической концентрации власти на вершине общественного устройства в централизованной монархии была экономическая консолидация феодальной собственности под ней. С развитием товарных отношений распад первичных связей между экономической эксплуатацией и политико-юридическим принуждением вел не только к усилению роли королевской власти в осуществлении второго, но и к компенсаторному укреплению прав собственности, гарантировавших первое. Другими словами, вместе с реорганизацией феодальной политической системы в целом и разжижением оригинальной системы феодалов, владение землей делалось все менее «условным», по мере того как суверенитет становился все более «абсолютным». Ослабление средневековых концепций вассалитета приводило к двум результатам: оно придавало новую чрезвычайную власть монархии, в то же самое время освобождая от традиционных ограничений владения аристократии. Аграрная собственность в новую эпоху была молчаливо превращена в безусловно наследственную (аллодиальную, используя термин, который сам становился анахронизмом в изменившемся юридическом климате). Индивидуальные члены аристократического класса, которые постепенно теряли политические права представительства в новую эпоху, получали в качестве другой стороны того же процесса экономические приобретения в форме собственности. Окончательным результатом этого общего передела социальной власти аристократии было создание государственной машины и юридического порядка абсолютизма, целью которых было увеличение эффективности аристократического правления путем принуждения некрепостного крестьянства к новым формам зависимости и эксплуатации. Королевские государства эпохи Ренессанса были первыми и передовыми модернизационными инструментами в поддержании господства аристократии над сельским населением.

Одновременно, однако, аристократия вынуждена была приспособливаться и ко второму антагонисту – торговой буржуазии, которая появилась в средневековых городах. Как было показано, именно наличие этой третьей прослойки не позволило западной аристократии решить свои проблемы с крестьянством по восточному образцу, сокрушив его сопротивление и прикрепив его к поместью. Средневековый город смог развиваться в результате того, что иерархическое распределение суверенитетов при феодальном способе производства впервые освободило городские экономики от прямого господства сельского правящего класса<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Знаменитые дебаты между Суизи (Sweezy) и Доббом (Dobb), в которых приняли также участие Такахаша (Takahashi), Хилтон (Hilton) и Хилл (Hill), в журнале *Science and Society* (1950. Vol.3), остаются до наших дней единственным систематическим марксистским анализом центральных проблем перехода от феодализма к капитализму. В одном важном отношении, однако, они велись вокруг неверной проблемы. Суизи (вслед за Пиренном) доказывал, что «первичным двигателем» в переходе был «внешний» агент разложения – городские анклавы, которые разрушили феодальную аграрную экономику посредством расширения товарного обмена в городах. Добб отвечал, что толчок к развитию надо искать в противоречиях самой аграрной экономики, которая порождала социальную дифференциацию крестьянства и подъем мелкого производителя. В последующем эссе на эту тему Вилар (Vilar) недвусмысленно сформулировал проблему перехода как проблему определения правильной комбинации «эндогенных» аграрных и «экзогенных» «торгово-городских» перемен, при этом подчеркивая важность новой экономики атлантической торговли в XVI в.: см.: *Problems in the Formation of Capitalism // Past and Present*. 1956. N 10. P 33–34. В важном недавнем исследовании *The Relations between Town and Country in the Transition from Feudalism to Capitalism* (неопубликовано) Джон Меррингтон (John Merrington) эффективно разрешил эту антиномию, продемонстрировав базовую истину, что европейский феодализм вовсе не был исключительно аграрной экономикой, а был первым способом производства в истории, предоставившим автономное структурное место городскому производству и обмену. Рост городов был в этом смысле таким же «внутренним» развитием западноевропейского феодализма, как и разложение манора.

Города не создавались внешними для западного феодализма факторами, главным условием их существования была уникальная «детотализация» суверенитета в политэкономическом порядке феодализма. Это объясняет гибкость городов на Западе во время тяжелейшего кризиса XIV в., который временно обанкротил множество патрицианских семей в средиземноморских городах. Барди и Перуджи потерпели крах во Флоренции, Сиена и Барселона пришли в упадок; однако Аугсбург, Женева или Валенсия только начинали свой подъем. Важнейшие городские производства-изготовление железа, бумаги и тканей – росли, несмотря на феодальную депрессию. Сохраняя внешнюю дистанцию от аграрных проблем, сама эта экономическая и социальная жизнестойкость являлась постоянным раздражителем в ходе классовой борьбы и блокировала любые регрессивные поползновения аристократии. В самом деле, важно, что именно в 1450–1500 гг., когда на Западе появились первые предшественники унифицированных абсолютных монархий, был преодолен и долгий кризис феодальной экономики. Это стало возможным благодаря рекомбинации производственных факторов, ведущую роль в которой впервые сыграли специфически *городские* технологические достижения. Концентрация изобретений, совпавшая с переломом между «средневековой» и «современной» эпохами слишком хорошо известна, чтобы обсуждать ее здесь. Открытие процесса аффинажа (*seiger*) для отделения серебра от медной руды возобновило работу шахт в Центральной Европе и поток металлов в международную экономику; за 1460–1530 гг. производство монеты в Центральной Европе выросло в 5 раз. Развитие литых бронзовых пушек впервые сделало порох решающим орудием войны, превратив замки баронов в анахронизм. Изобретение наборных литер положило начало книгопечатанию. Конструирование трехмачтовых управляемых с кормы галеонов сделало океаны преодолимыми и положило начало заморским завоеваниям<sup>12</sup>. Все эти технические прорывы, заложившие основы европейского Возрождения, произошли во второй половине XV в., и именно тогда прекратилась вековая аграрная депрессия – в Англии и Франции это произошло примерно к 1470 г.

Это была именно та эпоха, когда неожиданное восстановление политической власти и единства происходило в одной стране за другой. Из пропасти крайнего феодального хаоса и беспорядка времен войны Алой и Белой розы, Столетней войны и второй кастильской гражданской войны, практически одновременно появились и первые «новые» монархии в правление Людовика XI во Франции, Фердинанда и Изабеллы в Испании, Генриха VII в Англии и Максимилиана в Австрии. Таким образом, когда на Западе возникали абсолютистские государства, их структура была в своем основании определена перегруппировкой феодалов против крестьянства после отмены крепостного права; однако затем она была *переопределена* подъемом городской буржуазии, которая после серии технических и коммерческих достижений развивала доиндустриальную мануфактуру. Именно это вторичное влияние городской буржуазии на формы абсолютистского государства отметили Маркс и Энгельс в своих вводящих в заблуждение представлениях о «противовесе» и «главной основе». Энгельс не раз достаточно аккуратно описывал настоящее соотношение сил: обсуждая новые морские открытия и мануфактуры времен Возрождения, он писал, что «за этим колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответствующее изменение его политической структуры. Государственный строй оставался по-прежнему феодальным, в то время как общество становилось все более и более буржуазным»<sup>13</sup>. Угроза крестьянского

<sup>12</sup> О пушках и галеонах см.: Cipolla C. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400–1700. London, 1965. О книгопечатании самые смелые размышления, хотя и подпорченные мономанией, известной историкам технологий, недавно предложила Элизабет Эйзенштайн: см. Eisenstein E. Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society and Thought: a Preliminary Report // Journal of Modern History. 1968. March – December. P. 1–56, а также The Advent of Printing and the Problem of Renaissance // Past and Present. 1969. N 45. P. 19–89. Главные технические изобретения той эпохи могут быть рассмотрены как вариации на общем поле коммуникаций. Они затрагивали соответственно деньги, язык, путешествия и войну – в более поздний период все это стало великими философскими темами Просвещения.

<sup>13</sup> Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С.105. (Anti-Duhring. Moscow, 1947. P. 126). См. также P. 196–197, где смешаны верные и

недовольства, незримо конституировавшая абсолютистское государство, всегда, таким образом, сочеталась с давлением торгового или мануфактурного капитала внутри западных экономик, отливая контуры классового господства аристократии в новую эпоху. Конкретная форма абсолютистского государства на Западе стала результатом действия двух этих факторов.

Двойственные силы, которые произвели на свет новые монархии Европы эпохи Ренессанса, нашли единую юридическую форму. Возрождение римского права, одно из великих культурных достижений эпохи, одинаково соответствовало нуждам обоих социальных классов, чья сила и положение оформили структуру абсолютистского государства на Западе. Новое открытие римского права восходит к эпохе Высокого Средневековья. Все более прочное установление обычного права не смогло полностью стереть память о нем и практику римского гражданского права на том полуострове, где его традиции были самыми долгими, – в Италии. Именно в Болонье Ирнерий, «светоч закона» (*lamp of the law*), начал систематическое изучение кодексов Юстиниана в начале XII в. Основанная им школа глоссаторов методически воспроизводила и классифицировала наследие римских юристов на протяжении следующей сотни лет. За ними последовала школа комментаторов XIV–XV вв., более заинтересованных в современном приложении римских правовых норм, чем в научном анализе их теоретических принципов; в процессе адаптации римского права к резко изменившимся условиям времени они искажали его первоначальную форму и очистили его от частного содержания<sup>14</sup>. Сама неточность перевода ими латинской юриспруденции парадоксальным образом «универсализировала» ее, удаляя большие порции римского гражданского права, строго привязанные к историческим условиям античности (например, конечно же, всестороннее рассмотрение вопросов рабства)<sup>15</sup>. Римские юридические концепции начали распространяться за пределы Италии начиная с их повторного открытия в XII в. К концу Средних веков ни одна крупная страна Западной Европы не осталась не затронутой этим процессом. Однако решительное «принятие» римского права, его решающий юридический триумф произошел в эпоху Возрождения, одновременно с триумфом абсолютизма. Два типа исторических причин его глубокого влияния отражали противоречивый характер самого римского наследия.

Экономически восстановление и введение классического гражданского права весьма благоприятствовало росту свободного капитала в городе и стране, потому что главной отличительной чертой римского гражданского права была содержащаяся в нем концепция абсолютной и

---

неверные формулы. Эти страницы цитировались Хиллом в его Комментариях, где он пытается оправдать Энгельса за ошибочное положение о «равновесии». В целом у Маркса и у Энгельса можно найти пассажи, в которых абсолютизм описывается более адекватно, чем в цитированных выше текстах. (Например, в самом «Манифесте Коммунистической партии» есть прямое упоминание «феодалного абсолютизма».) Было бы странным, если бы этого не было, поскольку логическим следствием из признания абсолютизма буржуазным или полубуржуазным стал бы отказ в реальности самих буржуазных революций в Западной Европе. Однако несомненно, что, несмотря на повторяющуюся путаницу, главный дрейф их комментариев был направлен к концепции «равновесия» с сопутствующим ей сдвигом к идее «главной основы». Нет нужды скрывать этот факт. Огромное интеллектуальное и политическое уважение, которое мы питаем к Марксу и Энгельсу, несовместимо с любым благоговением перед ними. Их ошибки – часто более плодотворные, чем истины у других, – не должны скрываться, их надо обнаруживать и преодолевать. Здесь необходимо еще одно предупреждение. Долгое время было модным преуменьшать вклад Энгельса в создание исторического материализма. Для тех, кто до сих пор расположен придерживаться этой точки зрения, необходимо сказать спокойно, хотя и провокационно: суждения Энгельса *об истории* практически всегда превосходят суждения Маркса. Он обладал лучшими знаниями по европейской истории, он лучше разбирался в ее сменяющих друг друга и ясно выраженных структурах. Во всех трудах Энгельса нет ничего сопоставимого с иллюзиями и предрассудками, которые Маркс иногда приносил в науку, как, например, в фантазмагорической «Тайной дипломатической истории XVIII века» (вряд ли надо при этом заново утверждать превосходство вклада Маркса в *общую теорию* исторического материализма). Именно позиция Энгельса в его исторических трудах делает необходимым привлечь внимание к содержащимся там специфическим ошибкам.

<sup>14</sup> См. *Hazeltine H.D. Roman and Canon Law in the Middle Ages // The Cambridge Mediaeval History. Vol. g. Cambridge, 1968. P. 737–741.* Именно по этой причине сам ренессансный классицизм был очень критично настроен по отношению к работам комментаторов.

<sup>15</sup> «Теперь, когда это право было перенесено в совершенно другую, неизвестную античности ситуацию, задача „конструирования“ логически безупречной ситуации стала главной. Именно таким образом концепция права, существующая до сих пор и рассматривающая право как логически последовательный комплекс „норм“, требующих „применения“, стала основной концепцией юридической мысли». *Weber M. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978. Vol. 2. P. 885.*

безусловной частной собственности. Классическая концепция законной (*Quiritary*) собственности потерялась еще в темных глубинах раннего феодализма, потому что феодальный способ производства, как мы видели, точно определялся юридическим принципом условной собственности в дополнение к раздробленному суверенитету. Этот статус собственности был хорошо адаптирован к почти полностью натуральной экономике, возникшей в «темные века»; хотя он никогда не был полностью адекватным городскому сектору, развивавшемуся в средневековой экономике. Возрождение римского права в ходе Средневековья вело, таким образом, к юридическим попыткам «уточнить» и ограничить понятие собственности, вдохновленное заново открытыми классическими принципами. Одной из таких попыток было изобретение в конце XII в. различия между *dominium directum* и *dominium utile* для объяснения существования вассальной иерархии и соответственной множественности прав на одну и ту же землю<sup>16</sup>. Другой была характеристика средневекового понятия владения собственностью (*seisin*), расположенного между римскими «собственностью» (*property*) и «владением» (*possession*), которая гарантировала защищенную собственность от случайного присвоения или конфликтующих притязаний, сохраняя при этом феодальный принцип множественных прав на один и тот же объект: право *seisin* не было ни исключительным, ни вечным<sup>17</sup>. Полное восстановление концепции абсолютной частной собственности на землю было продуктом раннего Нового времени, когда потребовалось, чтобы производство и обмен товаров в сельском хозяйстве и в мануфактурном производстве достигли уровня равного или превосходящего античность и чтобы кодифицирующие их юридические концепции смогли вернуть себе изначальное значение. Принцип *superficies solo cedit* — единой и безусловной собственности на землю — снова стал действующим (хотя далеко еще не доминирующим) правилом аграрной собственности, именно благодаря распространению товарных отношений в сельской местности, определявшему долгий переход от феодализма к капитализму на Западе. В самих средневековых городах, конечно же, появилось относительно развитое коммерческое право. Внутри городской экономики обмен товаров достиг относительного динамизма уже в Средневековье, и в некоторых важных отношениях формы его юридического выражения были более развитыми, чем сами римские прецеденты: примером могут служить законодательство о компаниях и морское право. Однако здесь тоже не существовало единой структуры, правовой теории или процедур. Превосходство римского права для торговой практики городов состояло, таким образом, не только в его ясном понятии абсолютной собственности, но и в традициях равенства, рациональных канонов доказательства и опоре на профессиональных юристов — преимущества, которые не мог предоставить традиционный суд<sup>18</sup>. Восприятие римского права в ренессансной Европе было, таким образом, знаком распространения капиталистических отношений в городах и в стране: экономически оно отвечало жизненным интересам торговой и мануфактурной буржуазии. В Германии, стране, где воздействие римского права было наиболее драматичным, в конце XV–XVI в. невероятно быстро вытеснившим местные суды с родины тевтонского обычного права, первоначальный

<sup>16</sup> См. Levy J.-P. Histoire de la Propriete. Paris, 1972. P. 44–46. Другим ироническим побочным эффектом попыток создать новую юридическую ясность, вдохновленным средневековым исследованием римских кодексов, было, конечно, определение крепостных как *glebae adscripti* («приписанных к земле»).

<sup>17</sup> О значении понятия *seisin* см. Vinogradoff P. Roman Law in Mediaeval Europe. London, 1909. P. 74–44, 86, 95–96; Levy J.-P. Histoire de la Propriete. P. 50–52.

<sup>18</sup> Отношение первоначального средневекового права в городах к римскому праву нуждаются в дальнейшем исследовании. Сравнительное развитие юридических правил, регулировавших операции по типу *commenda* и морскую торговлю в Средневековье неудивительно: римский мир, как мы видели, не знал антрепренерских компаний и включал единое Средиземноморье. Следовательно, тогда не было причин развивать ни то ни другое. С другой стороны, изучение римского права в итальянских городах показывает, что то, что казалось ко времени Возрождения «средневековой» практикой контрактов, могло быть изначально сформировано юридическими принципами, восходящими к античности. Виноградов не сомневался, что римское контрактное право прямо влияло на деловые кодексы городских бюргеров Средневековья. См.: Vinogradoff P. Roman Law in Mediaeval Europe. Oxford: Clarendon Press, 1929. P. 79–80, 131. Городская недвижимая собственность, с ее «арендой», была всегда, конечно, ближе к римским нормам, чем сельская собственность в Средние века.

импульс к его принятию возник в южных и западных городах и пришел снизу через давление городских истцов, требовавших ясного и профессионального процессуального права<sup>19</sup>. Вскоре, однако, оно было взято на вооружение германскими князьями и применено на их территориях в еще больших масштабах и с совершенно иными целями.

*Политически* возрождение римского права соответствовало конституционной необходимости реорганизованных феодальных государств той эпохи. Несомненно, что в Европе *первичная* причина принятия римской системы права лежала в стремлении королевских правительств к усилению центральной власти. Римская юридическая система включала две различные – и очевидно противоречивые – части: гражданское право, регулирующее экономические трансакции между гражданами; и публичное право, управляющее политическими отношениями между государством и его подданными. Первое называлось *jus*, второе – *lex*. Юридически безусловный характер частной собственности, освященный первым, находил противоречивого двойника в формально абсолютной природе имперского суверенитета, определяемого вторым, по меньшей мере начиная с эпохи Домината. Именно теоретические принципы этого политического *impenit* оказали глубокое влияние на новые монархии эпохи Ренессанса и были для них особенно привлекательными. Если возрождение концепции законной собственности способствовало общему росту товарного обмена в переходных экономиках эпохи, то возрождение авторитарных прерогатив Домината выражало и укрепляло концентрацию аристократической классовой власти в централизованном государственном аппарате, которая была реакцией знати на этот процесс. Двойственные общественные процессы, запечатленные в структурах западного абсолютизма, нашли, таким образом, выражение в новом введении римского права. Знаменитая максима Ульпиана – *quod principi placuit legis habet vicem* («воля правителя имеет силу закона») – стала конституционным идеалом ренессансных монархий на всем Западе<sup>20</sup>. Дополняющая ее идея, что короли и князья сами являлись *legibus solutus*, или освобожденными от предшествующих законных ограничений, предоставила юридическую формулу, позволявшую не принимать во внимание средневековые привилегии, игнорировать традиции и подчинять частные права.

Другими словами, прирост частной собственности снизу дополнялся сверху увеличением публичной власти, олицетворенной в самовластной воле короля. Абсолютистские государства на Западе основывали свои новые стремления на классических прецедентах: римское право было самым могущественным интеллектуальным оружием, доступным для их типичной программы территориальной интеграции и административного централизма. Неслучайно единственной средневековой монархией, которая достигла полной эмансипации от любых представительных или корпоративных ограничений, было папство, первая политическая система феодальной Европы, оптом принявшая римскую юриспруденцию, кодифицировав каноническое право в XII–XIII вв. Претензии Папы на *plenitudo potestatis* в Церкви создали прецедент для последовавших притязаний светских князей, часто прямо направленных против религиозной чрезмерности. Более того, точно так же, как юристы-каноники в папском государстве управляли созданными ими административными рычагами контроля над Церковью, так и полупрофессиональные бюрократы, обученные римскому праву, стали ключевыми исполнительными служащими новых королевских государств. Абсолютные монархии Запада характерным образом опирались на страту умелых законников для заполнения своих административных машин: *letrados* в Испании, *maitres de requetes* во Франции, *doctores* в Германии. Пропитанные римскими доктринами королевской декретной власти и римскими концепциями унитарных правовых норм, эти юристы-бюрократы были рьяными проводниками королевского централизма в

<sup>19</sup> См. Kinkell W. The Reception of Roman Law in Germany: An Interpretation; Dahm G. On the Reception of Roman and Italian Law in Germany // Pre-Reformation Germany/G. Strauss (ed.). London, 1972. P. 271, 274–276, 278, 284–292.

<sup>20</sup> Одним из идеалов, но далеко не единственным: мы увидим, что сложная практика абсолютизма была всегда очень далека от максимы Ульпиана.

первый критический век создания абсолютистского государства. Именно этот международный корпус легистов более, чем любая другая сила, романизировал юридические системы Западной Европы в эпоху Ренессанса. Трансформация закона с неизбежностью отражала распределение власти между классами собственников той эпохи: абсолютизм, как реорганизованный государственный аппарат господства аристократии, был центральным архитектором восприятия римского права в Европе. Даже там, где, как в Германии, движение инициировали автономные города, именно князья возглавляли его и воплотили в жизнь; там же, где, как в Англии, королевская власть не смогла распространить гражданское право, оно не пустило корни и в городской среде<sup>21</sup>. В сверхдетерминированном процессе римского возрождения первенствовало политическое давление династического государства: требования монархической «ясности» доминировали над требованиями коммерческой «определенности»<sup>22</sup>. Рост формальной рациональности, пусть несовершенной и неполной, в юридической системе Европы раннего Нового времени был в преобладающей степени результатом работы аристократического абсолютизма.

Эффект юридической модернизации состоял, таким образом, в восстановлении правления традиционного феодального класса. Очевидная парадоксальность этого феномена отразилась на всей структуре абсолютных монархий – экзотических гибридных композиций, чья поверхностная «современность» раз за разом выдавала их глубинную архаику. Это ясно видно из обзора институциональных инноваций, которые олицетворяли их появление: армии, бюрократии, налогообложения, торговли, дипломатии. Давайте рассмотрим их кратко и по порядку.

Часто обращалось внимание на то, что абсолютистское государство первым создало профессиональную армию, которая с началом военной реформы конца XVI–XVII в., связанной с именами Мориса Оранжского, Густава-Адольфа и Валленштейна (голландский строй и учения пехоты, шведская система кавалерийского залпа, чешская единая вертикальная команда), невероятно выросла в размерах<sup>23</sup>. Армия Филиппа II насчитывала около 60 тыс. человек, а столетия спустя Людовик XIV командовал 300 тыс. солдат. Однако и по форме, и по функциям эти войска весьма отличались от тех, что позднее станут характеристикой современного буржуазного государства. Обычно эти солдаты не были призваны в национальную армию, а составляли смешанную массу, в которой иностранные наемники играли постоянную центральную роль. Эти наемники типично рекрутировались в регионах из-за пределов новых централизованных монархий; на поставке солдат особенно специализировались горные регионы: швейцарцы были гуркхами Европы раннего Нового времени. Французская, голландская, испанская, австрийская и английская армии включали швабов, албанцев, швейцарцев, ирландцев, валахов, турков, венгров и итальянцев. Самой очевидной социальной причиной феномена наемничества был, конечно, естественный отказ аристократии массово вооружать собственных крестьян. «Совершенно невозможно обучить всех подданных республики (*commonwealth*) искусству войны и в то же время сохранять их лояльность законам и должностным лицам, – писал Жан Боден, – В этом, вероятно, была главная причина роспуска Франциском I в 1534 г. семи полков по 6 тыс.

<sup>21</sup> Римское право так никогда и не натурализовалось в Англии, главным образом в результате ранней централизации англосаксонского государства, чье административное единство сделало английскую монархию безразличной к преимуществам гражданского права во время его средневековой диффузии. См. комментарии *Cantor N. Mediaeval History. London, 1963. P. 345–349*– В раннее Новое время династии Тюдоров и Стюартов ввели новые юридические институты по типу гражданского права (Звездную палату, Адмиралтейство и Суд лорда-канцлера), но в целом оказались неспособными преодолеть обычное право: после острых конфликтов между ними в начале XVII в. Английская революция 1640 г. закрепила победу последнего. Некоторые размышления над этим процессом см.: *Holdsworth W. A History of English Law. Vol. IV. London, 1924. P. 284–285*.

<sup>22</sup> Этими двумя терминами Вебер обозначал соответственно интересы двух сил, работавших на романизацию: «пока буржуазия добивалась „определенности“ (*certainty*) в администрации юстиции, бюрократия была заинтересована в «ясности» (*clarity*) и подчинении законам (*orderliness*)». См. его превосходное обсуждение в: *Economy and Society. Vol. II. P. 847–848*.

<sup>23</sup> См. *Roberts M. The Military Revolution 1560–1660 // Essays in Swedish History. London, 1967. P. 195–225* – основной текст; *Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611–1632. London, 1958. Vol. II. P. 169–189*.



пехотинцев каждый, которые он сам создал в своем королевстве»<sup>24</sup>. Напротив, на наемные войска, невежественные даже в языке местного населения, можно было положиться в подавлении народных восстаний. Немецкие ландскнехты справились с крестьянскими волнениями в Восточной Англии в 1549 г., в то время как итальянские аркебузиры ликвидировали сельский мятеж к юго-западу от Лондона; швейцарские гвардейцы помогли усмирить герильи булонцев и камизаров в 1662 и 1702 гг. во Франции. Значение наемников, заметное уже в конце Средних веков от Уэльса до Польши, не сводилось к временному удобству абсолютизма в начале его существования: они сопутствовали ему на Западе до самого конца. В конце XVIII в., даже после введения воинской повинности в основных европейских странах, до двух третей любой «национальной» армии могло состоять из нанятых иностранных солдат<sup>25</sup>. Пример прусского абсолютизма, нанимавшего и похищавшего людей в армию из-за границы, используя аукционы и мобилизацию, напоминает, что не всегда можно четко разделить одно от другого.

В то же самое время функции этих огромных сборищ солдат также, видимо, отличались от более поздних армий капитализма. До сих пор не существовало марксистской теории различных социальных функций войны при разных способах производства. Здесь не место исследовать этот предмет. Однако можно аргументировать, что война была, вероятно, *самым рациональным и быстрым* способом извлечения избытков, доступных любому правящему классу при феодализме. Сельскохозяйственное производство не было, как мы видели, застойным на протяжении Средневековья, то же самое относится и к объему торговли. Однако и то и другое росло слишком медленно с точки зрения феодалов, в сравнении со скорым и массивным «урожаем», предоставляемым завоеванием территории, в ряду которых норманнское вторжение в Англию или на Сицилию, захват Неаполя Анжуйской династией или завоевание Кастилией Андалусии были только самыми впечатляющими примерами. Поэтому логичным представляется, что с социальной точки зрения феодальный правящий класс был военным. Экономическая рациональность войны в такой общественной формации была весьма специфичной: это максимизация богатства, роль которого не может сравниться с той, что оно играет в сменивших ее более развитых формах производства, где доминирует базовый ритм аккумуляции капитала и «неустанные всеобщие перемены» (Маркс) в экономических основаниях общественной формации. Аристократия была землевладельческим классом, родом занятий которого была война: внешние приобретения были не ее общественной целью, а внутренней функцией ее экономического положения. Нормальная среда конкуренции между капиталистами – экономика, и ей соответствует типично приобретательская структура: обе конкурирующие стороны могут расширяться и процветать, хотя и не в равной степени, в условиях конфронтации, потому что производство товаров внутренне неограниченно. Типичной средой соперничества между феодалами была, по контрасту, война, и ее структура всегда была в потенции конфликтом с нулевой суммой, разыгрывавшимся на поле битвы, в результате которой ограниченное количество земли бывало завоевано или потеряно. Дело в том, что земля представляет собой естественную монополию: ее нельзя увеличить, но только переделить. Категориальной целью аристократического правления была территория, независимо от того, какое сообщество на ней проживало. Земля как таковая, не язык, определяла естественные периметры могущества. Правящий класс феодалов был поэтому весьма подвижным – таким, каким позже не мог быть правящий класс капиталистов. Так как капитал сам по себе характерно мобилен, он позволяет своим держателям быть национально закрепленными: земля национально немобильна, и феодалы должны были путешествовать, чтобы овладеть ею. Поэтому любая вотчина или династия могла переносить свою резиденцию с одного конца континента на другой без дезорганизации. Члены Анжуйской династии могли править Венгрией, Англией или Неаполем; норманны

<sup>24</sup> Bodin J. Les Six Livres de la Republique. Paris, 1578. P. 669.

<sup>25</sup> Cm. Dorn W. Competition for Empire. New York, 1940. P. 83.

– Антиохией, Сицилией или Англией; Бургундская династия – Португалией или Зеландией; Люксембургская – Рейнской областью или Богемией; Фламандская – Артуа или Византией; Габсбурги – Австрией, Нидерландами или Испанией. В этих различных землях феодалам и крестьянам не нужен был общий язык. Общественные территории формировали единое целое с частными владениями, и классическим средством их приобретения была сила, неизменно приукрашенная претензиями на религиозную или генеалогическую легитимность. Война не являлась «спортом» принцев, она была их судьбой; за пределами ограниченного разнообразия индивидуальных наклонностей и характеров она влекла их неумолимо, как социальное требование их статуса. Для Макиавелли, обозревавшего Европу начала XVI в., главным законом существования была истина, безукоризненная, как небо над ним: «Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого»<sup>26</sup>.

Абсолютистские государства отражают эту архаичную рациональность в своей глубинной структуре. Они были машинами, построенными главным образом для битвы. Важно отметить, что первый регулярный национальный налог, введенный во Франции, *taille royale*, был создан для того, чтобы финансировать первые регулярные военные подразделения в Европе – *companies d'ordonnance* середины XV в., первое из которых состояло из шотландских «солдат удачи». К середине XVI в. 80 % доходов испанского государства шло на военные траты: Вицес Вивес (Vives) мог написать, что «импульс по направлению к современному типу административной монархии был задан в Западной Европе великими морскими операциями Карла V против турок в Западном Средиземноморье начиная с 1535 года»<sup>27</sup>. К середине XVII в. ежегодные расходы континентальных княжеств от Швеции до Пьемонта были везде преимущественно и монотонно посвящены подготовке или ведению войны, теперь чрезвычайно более дорогой, чем в эпоху Возрождения. Еще век спустя, в мирный канун 1789 г., по данным Неккер, две трети французских государственных расходов были по-прежнему ассигнованы на военные нужды. Очевидно, что такая морфология государства не соответствует капиталистической рациональности: она представляет разбухшую память о средневековых функциях войны. Грандиозный военный аппарат позднефеодального государства не оставался в бездеятельности. Практически постоянное состояние международного вооруженного конфликта было одной из отличительных черт всего климата абсолютизма. Состояние мира был метеорологическим исключением в те века, когда абсолютизм доминировал на Западе. Подсчитано, что за весь XVI в. было только 25 лет без крупномасштабных военных операций в Европе<sup>28</sup>, тогда как в XVII в. только 7 лет прошло без крупных войн между государствами<sup>29</sup>. Такие календари чужды капиталу, хотя, как мы увидим, он внес в них и свой вклад.

Характеристика гражданской бюрократии и налоговой системы абсолютистского государства была не менее парадоксальной. Она появилась как будто для того, чтобы проиллюстрировать переход к веберовской рациональной юридической администрации, по контрасту с джунглями частных зависимостей Высокого Средневековья. В то же самое время ренессансная бюрократия рассматривалась как собственность, которую можно продавать частным лицам: это было смешение двух порядков, различие между которыми всегда будет поддерживать буржуазное государство. Следовательно, доминирующей формой интеграции феодальной аристо-

<sup>26</sup> Machiavelli N. Il Principe e Discorsi. Milan, 1960. P. 62.

<sup>27</sup> Vives V. J. Estructura Administrativa Estatal en los Siglos XVI y XVII // XI<sup>o</sup> Congrés International des Sciences Historiques, Rapports IV, Goteborg 1960; переиздано в: Vives V. Cojuntura Economica y Reformismo Burgues. Barcelona, 1968. P. 116.

<sup>28</sup> См. Ehrenberg R. Das Zeitalter der Fugger. Bd. I. Jena, 1922. P. 13.

<sup>29</sup> См. Clark G. N. The Seventeenth Century. London, 1947. P. 98. Эренберг, использующий немного другое определение, дает несколько меньшее число, 21 год.

кратии в абсолютистское государство на Западе стало приобретение «должностей»<sup>30</sup>. Тот, кто частным образом покупал пост в государственном аппарате, мог затем компенсировать свои затраты с помощью лицензированных привилегий и коррупции (системы вознаграждений), что напоминает монетизированную карикатуру на пожалование поместья. В самом деле, маркиз дель Васто, испанский губернатор Милана в 1544 г., мог потребовать от итальянских чиновников этого города заложить свое имущество Карлу V в тяжелый для него час после поражения при Цересоле, в точности следуя модели феодальных взаимоотношений<sup>31</sup>. Такие «держатели должностей», распространившиеся во Франции, Италии, Испании, Британии или Голландии, могли надеяться получить со своей покупки до 300–400 % прибыли, а возможно, и много больше. Система родилась в XVI в. и превратилась в главный источник финансов абсолютистских государств на протяжении XVII в.

Ее избыточно паразитический характер очевиден: в крайних ситуациях (например, во Франции в 1630-е гг.), она могла стоить государственному бюджету примерно столько же в издержках (через налоговые откупа и иммунитеты), сколько поставляла в ответ. Рост продаж должностей был, конечно, одним из самых ярких побочных продуктов возматизации экономик раннего Нового времени и относительного роста влияния торговой и мануфактурной буржуазии. Однако справедливо и то, что сама интеграция последний в государственный аппарат путем частной покупки и наследования общественных должностей и почестей означала подчиненный характер их ассимиляции в феодальную политическую систему, в которой аристократия всегда с неизбежностью составляла верхушку социальной иерархии. Чиновники (*officiers*) французского парламента, которые заигрывали с муниципальным республиканизмом и спонсировали «мазаринады» (движение против Мазарини) в 1650-е гг., стали самыми твердолобыми защитниками аристократической реакции в 1780-е. Абсолютистская бюрократия не только замечала рост торгового капитала, но и тормозила его.

Если продажа должностей была косвенным способом поднять доход от аристократии и торговой буржуазии на выгодных для них условиях, абсолютистское государство также, и прежде всего, облагало налогом бедных. Экономический переход от трудовой повинности к денежной ренте на Западе сопровождался появлением королевских налогов, собиравшихся на войну, что в условиях долгого феодального кризиса в конце Средневековья было уже одной из главных причин отчаянных крестьянских восстаний. «Цепь крестьянских восстаний, прямо направленных против налогообложения, взорвалась по всей Европе. <...> Выбор между фуражирами дружественной или вражеской армий был невелик – те и другие брали одинаково. Затем появлялись сборщики налогов и выметали все, что могли найти. Наконец, феодалы выбивали из своих людей „помощь“, которую они должны были заплатить своему суверену. Нет сомнений, что из всех бед, с которыми они сталкивались, крестьяне страдали наиболее болезненно и наименее терпеливо от бремени войны и налогообложения»<sup>32</sup>. Практически везде преобладающий вес налогов – *табли* и *габели* во Франции, *сервисио* в Испании – падал на бедняков. Не существовало юридической концепции «гражданина», обязанного платить налоги по самому факту своей принадлежности к нации. Класс сеньоров был на практике везде освобожден от налогообложения. Поршневу наглядно показал, что новые налоги, установленные абсолютистскими государствами для «централизации феодальной ренты», были противоположностью сеньориальным сборам, которые формировали «местную феодальную ренту»<sup>33</sup>: эта

<sup>30</sup> Лучшим исследованием этого международного феномена является: Swart K. W. Sale of Offices in the Seventeenth Century. The Hague, 1949. Самое всестороннее исследование на национальном уровне: Mosnier R. La Venalite des Offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen (n. d.).

<sup>31</sup> См. Chabod F. Scritti sul Rinascimento. Turin, 1967. P. 617. Миланские функционеры отказались выполнить требование своего губернатора, однако их коллеги в других местах могли не проявить такой решительности.

<sup>32</sup> Duby G. Rural Economy and Country Life in the Mediaeval West. P. 333.

<sup>33</sup> Porshnev B. F. Les Soulevements Populaires en France de 1623 a 1648. Paris, 1865. p. 395–396.

двойная система поборов приводила к мучительным эпидемиям восстаний бедноты во Франции XVII в., где провинциальная аристократия часто вела своих собственных крестьян против сборщиков налогов, чтобы с большей вероятностью собрать с них местные подати. Фискальных чиновников должны были охранять отрядами фузилеров, чтобы они могли исполнять свои функции в сельской местности: вместе они представляли модернизированное олицетворение единства политико-правового принуждения с экономической эксплуатацией, определяющего феодальный способ производства как таковой.

Экономические функции абсолютизма не исчерпывались, однако, его налоговой и должностной системами. Меркантилизм был правящей доктриной эпохи, и он представляет ту же самую неопределенность, как и бюрократия, которая должна была воплощать его в жизнь, и с тем же самым скрытым возвратом к более раннему прототипу. Меркантилизм несомненно требовал подавления партикуляристских барьеров торговли внутри национальных границ и боролся за создание унифицированного внутреннего рынка для производства товаров. Нацеленный на увеличение мощи государства по отношению ко всем другим государствам, он поощрял экспорт товаров, запрещая в то же время экспорт золота или монет, веруя в то, что в мире существует конечное количество торговли и богатства. В соответствии со знаменитой фразой Хекшера (Hecksher) «государство было одновременно и субъектом, и объектом меркантилистской экономической политики»<sup>34</sup>. Его характерными творениями были королевские мануфактуры и регулируемые государством гильдии во Франции, а также привилегированные компании в Англии. Средневековое и корпоратистское происхождение первого вряд ли нуждается в комментарии; слияние экономического и политического порядков в последних возмущало Адама Смита. Дело в том, что меркантилизм представлял собой концепцию феодального правящего класса, который адаптировался к общему рынку, но сохранил суть своего мировоззрения в единстве того, что Френсис Бэкон называл «соображениями изобилия» и «соображениями мощи». Классические буржуазные доктрины *laissez-faire*, с их жестким формальным разделением политической и экономической систем, служили ему антиподом. Меркантилизм был теорией последовательного вмешательства политического государства в работу экономики, в общих интересах процветания одного и мощи другого. Логично, что там, где *laissez-faire* был сущностно «пацифистским», благословляя блага мира между народами для увеличения взаимовыгодной международной торговли, меркантилистская теория [Монкретьен (Motchretien), Бодэн (Bodin)] была очень воинственной, подчеркивая необходимость и выгодность войны<sup>35</sup>. И наоборот, целью сильной экономики было успешное осуществление завоевательной внешней политики. Кольбер говорил Людовику XIV, что королевские мануфактуры были экономическими полками, а корпорации его резервами. Этот величайший практик меркантилизма, который восстановил финансы французского государства за десять волшебных лет интендантства, затем подтолкнул своего суверена к роковому вторжению в Голландию в 1672 г., таким выразительным советом: «Если король подчинит все Объединенные провинции своей власти, их торговля станет торговлей подданных его величества, и ничего больше не надо будет про-

<sup>34</sup> Хекшер доказывал, что целью меркантилизма было «увеличение мощи государства», а не «богатство наций», и это означало подчинение, словами Бэкона, «соображений изобилия» «соображениям мощи» (Бэкон на этом основании хвалил Генриха VII за ограничение импорта вин только на английских судах). Винер (Viner), в эффективном ответе не затруднился показать, что большинство писателей-меркантилистов, наоборот, придавали равное значение и тому, и другому, и верили, что они совместимы. *Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the 17th and 18th Centuries* EWorld Politics. I. N 1. 1948. Переиздано в: *Revisions in Mercantilism*/D. C. Coleman (ed.). London, 1969. P. 61–91. В то же время Винер очевидно недооценивал разницу между меркантилистской теорией и практикой, и сменившей ее *laissez-faire*. Фактически и Хекшер, и Винер разными способами упустили существенный факт, а именно *неразличение* экономики и политики в переходную эпоху, которая производила меркантилистские теории. Спорить о том, что из них имело «первенство» над другим, – анахронизм, потому что на практике между ними не было такого жесткого разделения до самого появления *laissez-faire*.

<sup>35</sup> См. Silberman E. *La Guerre dans La Pensee Economique du XVIe au XVIIIe Siecle*. Paris, 1939. P. 7–122.

силь»<sup>36</sup>. Сорок лет европейского конфликта последовали за этим экономическим умозаключением, которое совершенным образом фиксирует социальную логику абсолютистской агрессии и хищнического меркантилизма: торговля голландцев рассматривалась как земля англосаксов или владения мавров, – физический объект, который можно захватить военной силой и которым можно потом владеть постоянно. Оптическая иллюзия этого частного суждения не делает его нерепрезентативным: именно такими глазами абсолютистские государства смотрели друг на друга. Меркантилистские теории богатства и войны были, в самом деле, концептуально соединены: модель мировой торговли как игры с нулевой суммой, которая вдохновляла экономический протекционизм, проистекала из модели международной политики как игры с нулевой суммой, которая была неотъемлемой частью ее воинственности.

Торговля и война, конечно, не исчерпывали внешнюю активность абсолютистских государств Запада. Большие усилия прилагались и к *дипломатии*. Она стала одним из великих институциональных изобретений эпохи – возникшая в миниатюрном регионе Италии в XV в., институционализированная там миром в Лоди, и принятая Испанией, Францией, Англией, Германией и всей Европой в XVI в. Дипломатия была, фактически, нестираемым родимым пятном ренессансного государства: с ее появлением в Европе родилась международная государственная система, в которой существовало «постоянное зондирование слабых мест в окружении государства и опасностей, ему угрожающих, исходящих от других государств»<sup>37</sup>. Средневековая Европа никогда не состояла из четко разграниченных гомогенных политических единиц – международной системы государств. Ее политическая карта была запутанной, наложенной и замысловатой, в которой разные политические ступени были географически переплетены и стратифицированы, изобиловали множественными вассальными зависимостями, асимметричными сюзеренитетами и аномальными анклавами<sup>38</sup>. И в этом сложном лабиринте не могла возникнуть формальная дипломатическая система, потому что не существовало единообразия или равенства партнеров. Концепция латинского христианства, членами которого были все люди, предлагала универсалистскую идеологическую матрицу для конфликтов и решений, которая была необходимой оборотной стороной чрезвычайно партикуляристской гетерогенности самих политических единиц. Поэтому «посольства» были спорадическими и неоплачиваемыми путешествиями с обращениями, которые с равным основанием могли быть направлены вассалом к собственному вассалу на данной территории, или от князя к князю двух разных территорий, или от принца к его сюзерену. Сокращение феодальной пирамиды до новых централизованных монархий ренессансной Европы впервые создало формализованную систему новых институтов взаимных постоянных посольств за границей, постоянные канцелярии для иностранных дел и секретные дипломатические коммуникации и доклады, защищенные новой концепцией «экстерриториальности»<sup>39</sup>. Светский дух политического эгоизма, вдохновлявший с этого времени дипломатическую практику, был прозрачно выражен Эрмолао Барбаро, венецианским послом, который был его первым теоретиком: «Первая обязанность посла – та же

<sup>36</sup> Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Français. Paris, 1966. P. 95.

<sup>37</sup> Porshnev B.F. Les Rapports Politiques de l'Europe Occidentale et l'Europe Orientale à l'Époque de la Guerre de Trente Ans' // XIe Congrès International des Sciences Historiques. Uppsala, 1960. P. 161. Чрезвычайно умозрительный набег в Тридцатилетнюю войну, хороший пример сильных и слабых сторон Поршнева. Вопреки намекам его западных коллег, его главным недостатком является не жесткий «догматизм», а чрезмерно плодотворная изобретательность, не всегда адекватно ограниченная дисциплиной доказательств; в то же время эта самая черта в другом отношении делает его оригинальным и творческим историком. Краткие предложения в конце его эссе по поводу концепции «международной системы государств» очень хороши.

<sup>38</sup> Энгельс любил приводить пример Бургундии: «Карл Лысый, например, был ленником Императора по части своих земель и ленником французского короля по другой их части; с другой стороны, король Франции, его сюзерен, был в то же время ленником Карла Лысого, своего собственного вассала, по некоторым регионам». См. его важную рукопись, посмертно озаглавленную *Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie* // Werke. Bd. 21. S. 396.

<sup>39</sup> Полное развитие новой дипломатии в Европе раннего Нового времени можно найти в замечательной работе Mattingly G. Renaissance Diplomacy. London, 1955. passim.

самая, что и у других государственных служащих, то есть думать и советовать такие вещи, которые лучше всего послужат сохранению и расширению его собственного государства».

И все же эти инструменты дипломатии, послы и государственные секретари, не были оружием современного национального государства. Идеологическая концепция «национализма» была чужда внутренней природе абсолютизма. Королевские государства новой эпохи не пренебрегали мобилизацией патриотических чувств своих подданных в ходе политических и военных конфликтов, постоянно противопоставлявших различные монархии Западной Европы. Однако рассеянный народный протонационализм Англии Тюдоров, Франции Бурбонов или Испании Габсбургов был в основном знаком присутствия буржуазии в политической жизни<sup>40</sup>; сановники или суверены манипулировали им в большей степени, чем он управлял их действиями. Национальный ореол абсолютизма на Западе, очень часто декларируемый (Елизавета I, Людовик XIV), на деле зависел от многих обстоятельств. Руководящие нормы эпохи надо было искать в другом месте. Высшим знаком легитимности была *династия*, а не территория. Государство задумывалось как вотчина монарха, и, соответственно, право на него могло быть получено путем союза личностей: *felix Austria*. Высшим изобретением дипломатии был, следовательно, брак – мирное зеркало войны, которое очень часто ее провоцировало. Менее дорогостоящее в качестве способа территориальной экспансии, чем военная агрессия, матримониальное маневрирование давало и менее гарантированный результат (часто всего лишь на одно поколение) и было потому предметом непредсказуемого риска смертности в интервале между свадебным обрядом и созревaniem его политических плодов. Отсюда длинный окольный путь брака так часто вел назад прямо к короткой дороге войны. История абсолютизма замусорена такими конфликтами, названия которых свидетельствуют сами за себя: войны за испанское, австрийское, баварское наследства. Их результат мог, в самом деле, способствовать упрочению власти династии над территорией, развязавшей войну. Париж мог потерпеть поражение в разрушительной военной борьбе за испанское наследство, и дом Бурбонов унаследовал Мадрид. В дипломатии абсолютистского государства, таким образом, также очевидно доминирование феодалов.

Чрезвычайно выросшее и реорганизованное феодальное государство эпохи абсолютизма, тем не менее, постоянно и глубоко переопределялось ростом капитализма внутри составных общественных формаций периода раннего Нового времени. Эти формации были, конечно же, комбинацией различных способов производства при постепенно затухающем доминировании одного из них – феодализма. Все структуры абсолютистского государства раскрывают, таким образом, влияние работы новой экономики в рамках старой системы: изобиливала гибридная «капитализация» феодальных форм, само извращение которыми институтов будущего (армии, бюрократии, дипломатии, торговли) было превращением старых социальных целей в их повторение.

И все же предчувствие нового политического порядка, содержащееся в них, не было ложным обещанием. Буржуазия на Западе была уже достаточно сильной, чтобы в условиях абсолютизма оставить на государстве свой смазанный отпечаток. Видимым парадоксом абсолютизма в Западной Европе было то, что он по сути своей представлял аппарат для защиты собственности и привилегий аристократов, в то же самое время средства, которыми обеспечивалась эта защита, могли *одновременно* обеспечить и базовые интересы новорожденных торгового и мануфактурного классов. Абсолютистское государство во все возрастающей степени централизовало политическую власть и работало в направлении создания единой правовой системы: кампании Ришелье против гугенотских редутов во Франции были типичным случаем.

<sup>40</sup> Сельские и городские массы сами, конечно, порождали спонтанные формы ксенофобии; однако эта традиционная негативная реакция на чужие сообщества сильно отличалась от позитивной национальной идентификации, которая стала возникать среди грамотных буржуа в раннее новое время. Смешение этих двух процессов могло в кризисной ситуации породить патриотический порыв снизу, неконтролируемого и мятежного типа: восстания Комунерос в Испании или Лиги во Франции.

Оно покончило с большим количеством внутренних барьеров в торговле и поддержало ввозные пошлины против иностранных конкурентов: меры Помбаля (Pombal) в Португалии времен Просвещения были ярким примером. Оно предоставило доходные, хотя и рискованные инвестиции для ростовщического капитала: Аугсбургские банкиры XVI в. и генуэзские олигархи XVII в. могли наживать состояния на своих займах испанскому государству. Оно мобилизовало сельскую собственность путем захвата церковных земель: роспуск монастырей в Англии. Оно предложило бюрократии синекуры рантье: Полетт (Paulette) во Франции создавал им стабильные должности. Оно спонсировало колониальные предприятия и торговые компании: Белого моря, Антильских островов, Гудзонова залива, Луизианы. Другими словами, оно выполняло некоторые частичные функции *первоначального накопления*, необходимые для окончательного триумфа самого капиталистического способа производства. Причины того, почему оно смогло выполнять такую «двойную» роль, лежат в специфическом характере торгового или мануфактурного капитала: поскольку ни тот ни другой не основывался на массовом производстве, характерном для машинной индустрии, ни один сам по себе не требовал радикального разрыва с феодальным аграрным порядком, который все еще включал подавляющее большинство населения (будущие наемные работники и будущий рынок потребления промышленного капитализма). Другими словами, они могли развиваться в пределах, установленных реорганизованными феодальными рамками. Не хочу сказать, что так было везде: политические, религиозные или экономические конфликты могли после периода созревания при определенных условиях легко вылиться в революционные взрывы, направленные против абсолютизма. Всегда в рамках этой стадии, однако, существовало потенциальное *поле совместимости* между природой и программой абсолютистского государства и действиями торгового и мануфактурного капитала. В условиях международной конкуренции между благородными классами, которая порождала специфические войны той эпохи, размеры товарного сектора внутри каждой «национальной» вотчины всегда имели критическое значение для ее относительной военной и политической силы. Каждая монархия поэтому была заинтересована и в пополнении казны и поощрении торговли под ее собственными флагами, и в борьбе со своими соперниками. Отсюда – «прогрессивный» характер, который последующие историки так часто приписывали официальной политике абсолютизма. Экономическая централизация, протекционизм и заморская экспансия усиливали позднефеодальное государство и создавали прибыль ранней буржуазии. Они увеличивали налогооблагаемые доходы одного, создавая возможности для бизнеса другого. Рекламные максимы меркантилизма, провозглашавшиеся абсолютистским государством, давали убедительное выражение этому временному совпадению интересов. В соответствии с этим герцог Шуазель (Duc de Choiseul) в последние десятилетия аристократического старого режима на Западе декларировал: «От флота зависят колонии, от колоний – торговля, от торговли – возможности государства содержать многочисленные армии, увеличивать население и делать осуществимыми самые славные и полезные начинания»<sup>41</sup>.

Однако, как подразумевает финальный пассаж о «славных и полезных начинаниях», абсолютизм сохранял свой неотъемлемо феодальный характер. Это было государство, основанное на социальном превосходстве аристократии и ограниченное императивами земельной собственности. Аристократия могла передать власть монарху и разрешить обогащение буржуазии: массы оставались в ее власти. Никакого умаления благородного класса в абсолютистском государстве никогда не случалось. Его феодальный характер проявлялся в отказе от выполнения или искажении обещаний, которые оно делало капиталу. Фуггеры были в конце концов разрушены банкротствами Габсбургов; английская аристократия захватила большую часть монастырских земель; Людовик XIV разрушил блага работы Ришелье, отозвав Нантский эдикт; лондонские купцы были ограблены проектом Кокейна (Cockayne); Португалия после

<sup>41</sup> Цит. по: Graham G. The Politics of Naval Supremacy. Cambridge, 1965. P. 17.

смерти Помбала вернулась к системе Метуэна, парижские спекулянты были обмануты законом. Армия, бюрократия, дипломатия и династия оставались затвердевшими феодальными комплексами, которые правили всей машиной государства и управляли его судьбами. Правление абсолютистского государства было правлением феодальной аристократии в эпоху перехода к капитализму. Его конец означал кризис власти этого класса: начало буржуазных революций и возникновение капиталистического государства.



## 2. Класс и государство: проблемы периодизации

Мы описали типичную институциональную структуру абсолютистского государства на Западе. Нам остается сделать только набросок исторической траектории этой формы, которая пережила важные изменения за более чем три столетия своего существования. В то же время необходимо описать отношения между аристократией и абсолютизмом, поскольку ничто не может быть более далеким от истины, чем предположение, будто они отличались естественной гармонией с самого начала. Напротив, реальная *периодизация* абсолютизма на Западе может быть основана именно на смене типа отношений между аристократией и монархией, а также многочисленных сопутствовавших этой смене политических сдвигах. Ниже предлагается предварительная периодизация эволюции государства и отношения к нему доминирующего класса.

Средневековый монарх, как мы убедились, представлял собой сочетание феодального сюзерена и помазанного короля. Чрезвычайные королевские права второй функции были, конечно, необходимым противовесом структурной слабости и ограничениям первой: противоречие между этими двумя альтернативными основами королевской власти было центральной проблемой феодального государства в Средние века. Феодальный сюзерен на вершине иерархии вассалов играл роль доминирующего элемента этой модели монархии, как показывает ретроспективный взгляд на нее в сравнении со структурами абсолютизма. Эта роль предопределяла очень узкие пределы экономической базы монархии в раннесредневековый период. Феодальный правитель той эпохи вынужден был поднимать свои доходы главным образом за счет своих собственных владений, в качестве одного из землевладельцев. Доход от его поместий сначала поступал в натуральном виде, а позднее во всевозрастающей степени в денежной форме<sup>42</sup>. В дополнение к этому доходу, он обычно имел определенные финансовые привилегии, происходившие от его положения территориального властителя: прежде всего, феодальные сборы (*incidences*) и особую «помощь» от своих вассалов, связанную со вступлением во владение в их феодах, плюс налоги сеньора, взимаемые с рынков или торговых маршрутов, плюс чрезвычайные сборы от Церкви, плюс доходы от королевской юстиции в форме штрафов и конфискаций. Естественно, эти фрагментированные и ограниченные доходы вскоре стали недостаточными даже для небольших правительственных обязанностей, характерных для средневековой политической системы. Конечно, можно было обратиться за кредитом к купцам и банкирам в городах, контролировавшим сравнительно большие резервы ликвидного капитала: это было первым и самым распространенным средством, к которому прибегали феодальные монархи, сталкивавшиеся с дефицитом доходов для осуществления государственных обязанностей. Однако заимствование лишь откладывало проблему, поскольку банкиры обычно требовали залога будущих королевских доходов для обеспечения своих кредитов.

Настоятельная и постоянная нужда получать значительные суммы сверх традиционных доходов приводила, таким образом, всех европейских монархов к необходимости к созыву, время от времени, «сословий» своего королевства для того, чтобы собрать налоги. Эти сословные собрания – «Штаты» – становились все более частыми и влиятельными, начиная с XIII в. в Западной Европе, когда задачи феодальных правительств все более усложнялись, и масштаб требуемых финансов соответственно увеличивался<sup>43</sup>. Они так никогда и не получили законо-

---

<sup>42</sup> Шведская монархия продолжала получать большую часть своих доходов, как пошлины, так и налоги в натуральной форме еще долго на протяжении раннего Нового времени.

<sup>43</sup> Полномасштабного исследования средневековых «Штатов» в Европе до сих пор не сделано. В настоящее время единственной работой с некоторыми международными параллелями является книга Антонио Маронгиу (*Antonio Marongiu*) *Il Parlamento in Italia, nel Medio Evo e nell'Età Moderna: Contributo alla Storia delle Istituzioni Parlamentari dell'Europa Occidentale*. Milan, 1962, недавно и несколько неверно переведенная на английский как «Средневековые парламенты: Сравнительное исследование» (Лондон, 1968). На самом деле, книга Маронгиу – как показывает оригинальное название – особенно посвящена

дательной базы для регулярного созыва, независимого от воли правителя, и потому их периодичность в разных странах весьма различалась. Однако эти учреждения нельзя рассматривать как случайный или посторонний нарост на средневековом политическом теле. Напротив, они представляли собой механизм, который был неизбежным следствием структуры раннефеодального государства как такового. Именно потому, что политический и экономический порядок был *вплавлен* в цепь *личных* обязательств и долгов, никогда не существовал никакой легальной основы для *общего* налогообложения со стороны монарха помимо иерархии суверенов-посредников. В самом деле, удивительно, что сама идея всеобщего налогообложения – центральная для всего здания Римской империи – полностью отсутствовала во времена «темных веков»<sup>44</sup>. Таким образом, ни один феодальный король не мог по своему желанию назначить новый налог. Каждый правитель должен был получить «согласие» специально собиравшихся органов сословного представительства на налогообложение, в соответствии с юридическим принципом *quod omnes tangit*<sup>45</sup>. Важно, что большинство прямых общих налогов, которые постепенно вводились в Западной Европе с согласия средневековых парламентов, были впервые введены в Италии, где феодальный синтез в большой степени опирался на римское и городское наследие. Не только Церковь налагала общие налоги на верующих для осуществления крестовых походов; муниципальные правительства – компактные советы патрициев без инвеституры или стратификации рангов – не испытывали больших трудностей в установлении налогов на население своих городов, хотя и в меньшей степени на подчиненные *contado*. Коммуна Пизы имела даже налог на собственность. На Апеннинском полуострове также взималось множество непрямых налогов: монополия на соль или *габель* происходит с Сицилии. Вскоре пестрое фискальное полотно было соткано и в основных странах Западной Европы. Английские принцы в силу своего островного положения опирались в большей степени на таможенные пошлины, французы на акцизы и *талью*, а немцы на интенсификацию сборов. Эти налоги, однако, не были установлены постоянно. Они обычно оставались сборами по случаю вплоть до конца Средних веков, на всем протяжении которых лишь немногие сословные представительства уступили королям право устанавливать постоянное или всеобщее налогообложение без согласия своих подданных.

Социальное деление «подданных» было очевидным. «Сословия королевства» обычно состояли из дворянства, духовенства и городской буржуазии, и были либо так и организованы в трехкуриальную систему, либо в несколько отличавшуюся двухкуриальную (магнаты/немагнаты)<sup>46</sup>. Такие собрания были практически всеобщими в Западной Европе, за исключением Северной Италии, где плотность городского населения и отсутствие феодального сюзеренитета замедлило их появление: парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, ландтаги в Германии, кортесы в Кастилии или Португалии, риксдаг в Швеции и т. д. Помимо их существенной роли налоговых вентилей средневекового государства, эти органы сословного представительства выполняли другую критически важную функцию в феодальной политической системе. Они являлись коллективными институтами одного из глубочайших принципов феодальной иерархии, – обязанности вассала предоставлять не только *auxilium*, но и *consilium* своему лорду; другими словами, право подавать свой совет по серьезным делам, касающимся обеих сто-

---

Италии, единственному региону в Европе, где Штаты отсутствовали или были сравнительно неважными. Небольшие разделы книги, посвященные другим странам (Франции, Англии или Испании), вряд ли составляют удовлетворительное введение в проблему, и она полностью игнорирует Северную и Восточную Европу. Более того, книга представляет собой юридический обзор, чуждый социологического подхода.

<sup>44</sup> См. Stephenson C. *Mediaeval Institutions*. Ithaca 1954. P. 99–100.

<sup>45</sup> Что касается всех, должно быть всеми одобрено (*лат.*).

<sup>46</sup> Эти альтернативы анализируются Хинтце (Hintze) в *Typologie der Ständischen Verfassungen des Abendlandes* // *Gesammelte Abhandlungen*. Vol. 1. P. 110–129; эта его работа и в настоящее время остается лучшей из всех, посвященных феномену феодальных сословий в Европе, хотя любопытным образом неубедительной в сравнении с большинством других текстов Хинтце, как будто все значение его находок еще должно быть им истолковано.

рон. Такие консультации вовсе не обязательно ослабляли средневекового правителя: в случае международного или внутривластного кризиса они могли усилить его, предоставив важную поддержку. Вне частного ядра отношений индивидуального вассалитета, общественное приложение этой концепции было первоначально ограничено небольшим количеством магнатов-баронов, которые являлись главными держателями земель монарха, формировали его окружение и должны были консультировать его по важным государственным делам. С ростом влияния сословий в XIII в. в связи увеличением фискальных запросов, прерогативы баронов на консультации в *ardua negotia regni* (период тяжелых королевских забот) были постепенно расширены на эти новые ассамблеи и стали важной частью политических традиций благородного класса, который, конечно, всюду доминировал в сословно-представительных органах. «Ответвление» феодальной политики в позднее Средневековье в виде институтов сословного представительства, таким образом, не меняло отношений между монархией и дворянством в каком-то одном направлении. Эти институты были главным образом вызваны к жизни для расширения фискальной базы монархии, однако в процессе выполнения этой функции они также увеличили потенциальный коллективный контроль дворянства над последней. Они, следовательно, не могут рассматриваться ни как простая система сдержек, ни как инструменты королевской власти: скорее, они точно повторяли баланс между феодальным сюзереном и его вассалами в рамках более сложной и эффективной системы.

На практике созыв представителей сословий оставался спорадическим, а налоги, налагаемые монархией, относительно скромными. Важной причиной такого положения дел было то, что экстенсивно оплачиваемая бюрократия еще не поставила себя между монархией и дворянством. Королевское правительство на протяжении Средневековья опиралось на услуги очень большой церковной бюрократии, высший персонал которой мог посвятить себя на постоянной основе делам гражданской администрации без того, чтобы выставлять финансовый счет государству, так как он уже получал большое жалованье от независимого церковного аппарата. Высшее духовенство, которое век за веком поставляло высших администраторов феодальной политики – от Англии до Франции и Испании, – было, конечно, главным образом рекрутировано из благородного сословия, для которого доступ к постам епископов и аббатов составлял важную социальную и экономическую привилегию. Ступенчатая феодальная иерархия личной присяги и верности, корпоративные сословные ассамблеи, осуществляющие свое право голосования за налоги, и рассуждения о делах королевства, неформальный характер администрации, частично определяемый Церковью, верхний эшелон которой часто составляли магнаты, – все это формировало понятную и доступную политическую систему, привязывавшую аристократию к государству, с которым, несмотря на постоянные конфликты с отдельными монархами, она составляла единое целое.

Контраст между этой моделью отношений средневековых сословий с монархией и той, что появилась в начальный период абсолютизма Нового времени, вполне очевиден для сегодняшнего историка. Он был, естественно, не менее, а гораздо более очевиден для аристократии, которая жила в то время. Дело в том, что великая молчаливая сила, ставшая причиной структурной реорганизации власти феодального класса, была скрыта от них. Тип исторической причинности, который разрушал изначальное единство внеэкономической эксплуатации, лежавшей в основе всей социальной системы, расширяя производство товаров и обмен и вновь централизуя их на вершине, был не виден в их категориальной вселенной. Для многих представителей аристократии перемены означали новые возможности для удачи и славы, за которые они с жадностью ухватились; для многих других – бесчестье и крах, против которого они бунтовали; для большинства – продолжительный и трудный процесс адаптации и обращения, на протяжении жизни нескольких поколений, прежде чем гармония между их классом и государством была кое-как восстановлена. В ходе этого процесса позднефеодальная аристократия

была вынуждена отказаться от старых традиций и приобрести многие новые умения<sup>47</sup>. Она должна была избавиться от частного вооруженного насилия, социальных моделей вассальной лояльности, экономических привычек наследственного безразличия, политических прав автономного представительства, и культурных атрибутов неграмотного невежества. Она должна была освоить новые занятия дисциплинированного офицера, грамотного чиновника, изысканного придворного и более-менее предусмотрительного владельца поместья. История западного абсолютизма в большой степени представляет собой историю медленного превращения землевладельческого правящего класса в необходимую форму своей собственной политической власти, несмотря на (и вопреки) большую часть его предыдущего опыта и инстинктов.

Ренессанс, таким образом, стал эпохой первой фазы консолидации абсолютизма, когда он был все еще сравнительно близок к предшествовавшей монархической модели. Сословия продолжали существовать во Франции, Кастилии или Нидерландах до середины века и процветали в Англии. Армии были сравнительно малы, в основном представляя собой наемные силы так называемого сезонного типа. Ими руководили лично аристократы, относившиеся к высшим магнатам своих королевств (Эссекс, Альба, Конде или Нассау). Великий секулярный бум XVI в., спровоцированный как быстрым демографическим ростом, так и появлением американского золота и торговли, облегчил кредит для европейских принцев и позволил увеличивать затраты без соответственного расширения фискальной системы, хотя в целом происходила интенсификация налогообложения: это был золотой век южногерманских финансистов. Бюрократическая администрация постепенно росла, но она обычно становилась добычей аристократических семей, соревновавшихся за политические привилегии и экономические привилегии, получаемые от должности, и возглавлявших паразитические клиентелы менее влиятельных дворян, которые проникали в государственный аппарат и формировали соперничающие сети патронажа: это была модернизированная версия позднесредневековой системы клиентов и их конфликтов. Фракционные раздоры между сильными семьями, каждая из которых имела в своем распоряжении сегмент государственной машины и часто солидную региональную базу в едва объединенной стране, постоянно выходили на первый план политической сцены<sup>48</sup>. В Англии смертельное соперничество между Дадли и Сеймурами и Лестерами и Сесиями, во Франции убийственная трехсторонняя война между Гизами, Монморенси и наследниками Бурбонов, в Испании жестокая закулисная борьба между группами Альба и Эболи задавали тон эпохе. Западные аристократы начали получать университетское образование и культурную подкованность, до того остававшуюся уделом духовенства<sup>49</sup>; однако они еще ни в коем случае не были демилитаризованы в частной жизни, даже в Англии, не говоря о Франции, Италии или Испании. Правящие монархи обычно должны были принимать во внимание независимую силу своих магнатов и предлагать им должности, приличествовавшие их рангу: следы симметричной средневековой пирамиды были еще видны в подходах суверена. Только во второй половине века первые теоретики абсолютизма начали пропагандировать концепции божественного права, которые окончательно подняли королевскую власть над ограниченной и взаимной вассальной клятвой сюзеренов Средневековья. Боден был первым и наиболее скрупулезным из

<sup>47</sup> Книга Лоуренса Стоуна (Lawrence Stone) *The Crisis of the Aristocracy, 1558–1641* (Oxford, 1965) является самым глубоким существующим исследованием метаморфоз европейской аристократии в эту эпоху. Критики сосредоточились на его тезисе, что экономические позиции английского пэрства значительно ухудшились на протяжении исследованного столетия. Однако этот вопрос был вторичным, поскольку «кризис» был гораздо шире, чем простой вопрос о количестве маноров, принадлежавших лордам: он включал тяжелый труд адаптации. Обсуждение Стоуном проблемы военной силы аристократии в этом контексте представляется особенно ценным (Р. 199–270). Недостаток книги скорее состоит в ее ограниченности английским пэрством, очень маленькой группой элиты внутри землевладельческого правящего класса; более того, как будет видно ниже, английская аристократия была чрезвычайно нетипичной для Западной Европы в целом. Необходимо изучение континентальной аристократии, основанное на таком же богатом материале.

<sup>48</sup> См. недавнюю дискуссию: *Elliott J. H. Europe Divided, 1559–1598*. London, 1968. p. 73–77;

<sup>49</sup> См. *Hexter J. H. The Education of the Aristocracy in the Renaissance // Reappraisals in History*. London, 1961. P. 45–70.

них. Однако XVI век завершился в крупных странах, нигде не создав законченной формы абсолютизма: даже в Испании Филипп II был бессилён отправить войска через границу Арагона без разрешения своих лордов.

В действительности же, сам термин «абсолютизм» неверен. Ни одна западная монархия никогда не получала абсолютную власть над своими подданными в значении неограниченного деспотизма<sup>50</sup>. Все были ограничены, даже на вершине своих прерогатив, комплексом концепций, определявших «божественное» или «естественное» право. Теория суверенитета, предложенная Боденом, доминировавшая в европейской мысли все столетие, выразительно воплощала эти противоречия абсолютизма. Ибо Боден был первым мыслителем, систематически и решительно порвавшим со средневековой концепцией власти как осуществления традиционного правосудия и сформулировал современную идею политической власти как суверенной способности создавать новые законы и налагать безусловную обязательность их исполнения. «Основным отличием суверенного величества и абсолютной власти является право налагать законы на подданных без их согласия. <...> Существует различие между правосудием и законом, поскольку одно всего лишь означает беспристрастность, тогда как другое означает управление. Закон есть не что иное, как осуществление сувереном его власти»<sup>51</sup>. И все же, провозглашая эти революционные аксиомы, Боден в то же время поддержал самые консервативные феодальные максимы, ограничивавшие базовые фискальные и экономические прерогативы правителей над своими подданными. «Ни один государь в мире не имеет права по собственной воле налагать налоги на свой народ, или произвольно отбирать товары у других, [поскольку] суверенный государь не может нарушать законы природы, установленные Богом – чьим представителем на Земле он является, и, следовательно, не может отбирать собственность у других без справедливой и обоснованной причины»<sup>52</sup>. Таким образом, страстное обоснование новой идеи о суверенитете сочеталось у Бодена с призывом возродить систему феодалов для военной службы и утверждением ценностей сословного представительства: «Суверенитет монарха ни в коем случае не отвергается или умаляется существованием сословного представительства; напротив, его величество еще более велик и прославлен, когда его народ признает его как суверена, даже если в таких собраниях государи, не желающие восстановить против себя подданных, позволяют и соглашаются на такие вещи, на которые не согласились бы без просьбы, мольбы или жалобы народа...»<sup>53</sup>. Ничто не раскрывает лучше настоящую природу абсолютной монархии в эпоху позднего Возрождения, чем это авторитетное мнение. Ибо практика абсолютизма соответствовала его теории, созданной Боденом. Ни одно абсолютистское государство не могло просто по воле монарха лишить свободы или земельной собственности дворянина или буржуа, как это делалось в современных им азиатских тираниях. Не могли они достичь и полной административной централизации или юридической унификации; корпоративный сепаратизм и региональная гетерогенность, унаследованная от Средневековья, была чертой старого режима вплоть до его окончательного свержения. Абсолютная монархия на Западе была, таким образом, ограниченной дважды: продолжавшими существовать традиционными поли-

<sup>50</sup> Первым и самым основательным вкладом в споры на эту тему является статья Фрица Гартунга и Ролана Мунь: *Mousnier R., Hartung F. Quelques Problemes Concernant la Monarchie Absolue*//X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Relazioni IV. Florence, 1955, особенно P. 4–15. Предшественники видели эту же истину, хотя и в менее систематической форме, среди них Энгельс: «Упадок феодализма и развитие городов являлись двумя децентрализующими силами, предопределившими необходимость абсолютной монархии как силы, способной скрепить в единое целое национальности. Монархия должна была быть абсолютной, просто из-за центростремительного давления всех этих элементов. Ее абсолютизм, однако, не надо понимать в вульгарном смысле. Это был перманентный конфликт с сословиями, мятежными вассалами и городами: нигде органы сословного представительства не были уничтожены полностью». Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 402. Последняя оговорка, конечно, преувеличение.

<sup>51</sup> Bodin J. Les Six Livres de la Republique. Paris, 1578. P. 103, 114. Я перевел *droit* как «правосудие» (*justice*) в этом отрывке, чтобы подчеркнуть различие.

<sup>52</sup> Ibid. P. 102, 114.

<sup>53</sup> Ibid. P. 103.

тическими структурами под нею и присутствием всеобщего морального закона над ней. Другими словами, власть абсолютной монархии осуществлялась в границах класса, чьи интересы она обеспечивала. Острый конфликт между ними развернулся в следующем веке, когда монархия принялась разрушать семейные земельные владения аристократии. Однако надо понимать, что как по-настоящему абсолютная власть никогда не осуществлялась абсолютистскими государствами на Западе, так и борьба между этими государствами и аристократией не могла быть абсолютной. Социальное единство определяло место и временные рамки политических противоречий между ними. Они, однако, имели свое собственное историческое значение.

Следующие сто лет стали свидетелями полного установления абсолютистского государства, в век сельскохозяйственной и демографической депрессии и снижавшихся цен. Именно тогда в полной мере стали ощутимы результаты «военной революции». Армии быстро росли в размерах, становясь астрономически дорогими, в течение нескольких непрерывно расширявшихся войн. Военные операции Тилли не были более значительными, чем те, которыми командовал Альба; однако они выглядели карликовыми по сравнению с проводимыми Тюренном. Затраты на эти массивные военные машины спровоцировали острый кризис доходов абсолютистских государств. Налоговое давление на массы интенсифицировалось. Одновременно продажа государственных должностей и титулов стала центральной финансовой необходимостью для всех монархий и была систематизирована таким образом, которого не знало предыдущее столетие. Результатом стала интеграция растущего числа буржуа-парвеню в ряды государственных служащих, которые становились все более профессиональными, и реорганизация связей между аристократией и самим государственным аппаратом.

Продажа должностей была не просто экономическим изобретением для увеличения доходов, поступавших от имущих классов. Она также выполняла политическую функцию: делая приобретение бюрократической должности рыночной транзакцией и наделяя обладание ею правом наследования, продажа должностей блокировала формирование в государственной системе клиентелы магнатов, зависимой не от безличного денежного эквивалента, а от личных связей и престижа патрона и его дома. Ришелье в своем завещании подчеркнул критическую «стерилизующую» роль *paulette* в выведении административной системы из-под досягаемости щупальцев аристократических родов, таких как дом Гизов. Конечно, один паразитизм был сменен другим: место патронажа заняла коррупция. Однако посредничество рынка было безопаснее для государства, чем посредничество магнатов: парижские финансовые синдикаты, дававшие займы государству, собиравшие налоги и покупавшие должности в XVII в., были куда менее опасны для французского абсолютизма, чем провинциальные династии XVI в., которые не только имели в распоряжении целые отделы королевской администрации, но и могли выставить собственные вооруженные силы. Усилившаяся бюрократизация должностей, в свою очередь, создавала новый тип управленцев, хотя и рекрутировавшихся из аристократии и ожидавших от своей должности обычной прибыли, однако проникнутых уважением к государству как таковому и намерением отстаивать его долговременные интересы перед лицом близоруких интриг амбициозных или недовольных вельмож. Таковы были аскетичные министры-реформаторы монархий XVII в., в основном гражданские служащие, не имевшие какой-либо автономной региональной или военной базы и управлявшие делами государства из своих кабинетов: Оксеншерна, Лод, Ришелье, Кольбер или Оливарес. (Дополнительным типажом в новую эпоху стал слабый близкий друг правящего суверена, *valido*, на которых Испания была такой щедрой, от Лермы до Годоя; Мазарини был странной смесью двух типов.) Именно это поколение расширило и кодифицировало практику двусторонней дипломатии XVI в., превратив ее в многостороннюю международную систему, основополагающим документом которой стал Вестфальский договор, а горнилом, в котором она была выкована, – масштабные войны XVII в.

Эскалация войны, бюрократизация должностей, интенсификация налогообложения, эрозия клиентел вели к одному и тому же результату: к окончательному исчезновению того, что в

следующем столетии Монтескье ностальгически назовет «посредствующими властями» между монархией и народом. Другими словами, система сословий терпела неудачу по мере того, как классовая власть аристократии приняла форму центристской диктатуры, осуществившейся под королевскими знаменами. Реальная власть монархии как института, конечно, никоим образом не соответствовала власти монарха: суверен, который на самом деле управлял администрацией и проводил политику, был исключением из правила, хотя, по очевидным причинам, творческое единство и эффективность абсолютизма всегда достигали максимума, когда эти институты совпадали (как в случае Людовика XIV или Фридриха II). Наибольший расцвет и сила абсолютистского государства великого века (*grand siècle*) были с необходимостью связаны с подавлением традиционных прав и автономий благородного класса, бравших начало в средневековой децентрализации феодальной политики и освященных вековыми традициями и интересами. Последние Генеральные штаты перед революцией созывались во Франции в 1614 г.; последние кастильские Кортесы перед Наполеоном – в 1665; последний ландтаг в Баварии – в 1669; в то время как в Англии самый долгий перерыв в работе парламента продолжался с 1629 г. до начала гражданской войны. Эта эпоха была, таким образом, не только политическим и культурным апогеем абсолютизма, но и временем широко распространенного среди аристократии недовольства и отчуждения от него. Частные привилегии и традиционные права не отдавались без борьбы, особенно в период экономической рецессии и дорогого кредита.

XVII век на Западе был поэтому временем постоянно повторявшихся восстаний местной знати против абсолютистского государства; они часто смешивались с недовольством юристов или купцов, а иногда аристократия даже использовала возмущение страдающих сельских или городских масс в качестве оружия против монархии<sup>54</sup>. Фронда во Франции, Каталонская республика в Испании, неаполитанская революция в Италии, восстание сословий в Богемии и «великий мятеж» в самой Англии в разной степени включали этот протест аристократии против консолидации абсолютизма<sup>55</sup>. Естественно, эта реакция никогда не становилась полномасштабной атакой аристократов на монархию, поскольку они были связаны классовой пуповиной; в том столетии не было и ни одного случая *чисто* аристократического мятежа. Характерной моделью был, скорее, локальный взрыв, в котором регионально ограниченная часть дворянства поднимала знамя аристократического сепаратизма, а уже к ней в общем восстании присоединялись недовольная городская буржуазия и толпы плебеев. Только в Англии, где капиталистический компонент мятежа перевешивал как в сельском, так и городском классах собственников, «великий мятеж» победил. В других странах, таких как Франция, Испания, Италия и Австрия, восстания, в которых доминировали или участвовали аристократы-сепаратисты, были подавлены, и власть абсолютизма восстановлена. Феодальный правящий класс не мог отказаться от достижений абсолютизма, выражавших глубокую историческую необходи-

<sup>54</sup> Тревор-Ропер (Trevor-Roper) в своем по праву знаменитом эссе *The General Crisis of the Seventeenth Century* // Past and Present. N 16, November 1959. P. 31–64, сейчас переработанном и перепечатанном в *Religion, The Reformation and Social Change* (London, 1967. P. 46–89), при всех его достоинствах, слишком ограничивает масштаб этих мятежей, представляя их в основном как протесты против расходов и трат постренессансных дворов. На самом деле, как указывали многие историки, война была гораздо более серьезной статьей государственных расходов XVII в., чем двор. Дворцы Людовика XIV были гораздо богаче, чем у Анны Австрийской, но это не делало их более непопулярными. Отдельно от этого, фундаментальный разлом между аристократией и монархией в ту эпоху был не экономическим, хотя военные налоги могли и становились поводом к мятежам. Разлом, однако, был политическим, связанным с общим местом аристократии в зарождающейся политической системе, черты которой оставались еще скрытыми для всех актеров, участвовавших в этой драме.

<sup>55</sup> Неаполитанский бунт, социально самый радикальный среди этих движений, наименее отвечает этому наблюдению. Но даже там первым штормовым сигналом антииспанского взрыва были аристократические заговоры Санцы, Конверсано и других дворян, враждебных к фискальной политике вице-короля и жиревшей на ней клике спекулянтов и интриговавших с Францией против Испании начиная с 1634 г. Заговоры баронов множились в Неаполе в начале 1647 г., когда неожиданно вспыхнуло народное восстание, возглавленное Мазаньелло и повернуло неаполитанскую аристократию назад к лоялизму. См. блестящий анализ в: *Rosario Villari. La Rivolta Anti-Spagnuola a Napoli. La Origini* (1585–1647). Bari, 1967. P. 201–216.

мость, проявлявшуюся на всем континенте, без того, чтобы поставить под сомнение свое собственное существование; на деле он никогда полностью не разделял цели восстаний. Однако региональный или частный характер этой борьбы не уменьшает ее значения: факторы местного автономизма просто концентрировали недовольство, рассеянное в разных кругах аристократии, и придавали им военно-политическую форму. Протесты в Бордо, Праге, Неаполе, Эдинбурге, Барселоне или Палермо имели гораздо более широкий резонанс. Их окончательное поражение было центральным эпизодом тяжелой работы всего класса в этом столетии, который медленно трансформировал себя, чтобы соответствовать новым, непривычным потребностям новой государственной власти. Ни один класс в истории сразу не воспринимал логику своего исторического положения в эпоху перехода: долгий период дезориентации и смятения был необходим для того, чтобы он выучил нужные правила собственного суверенитета. Западная аристократия в напряженную эпоху абсолютизма XVII в. не была исключением: она должна была приспособиться к резкой и неожиданной смене порядка управления.

Это объясняет очевидный парадокс траектории абсолютизма на Западе. Если XVII в. был полднем беспорядка и смятения в отношениях между аристократией и государством, то XVIII в. был, в сравнении с ним, золотым вечером их примирения и тишины. Превалировала новая стабильность и гармония, когда международная экономическая конъюнктура изменилась, и на большей части Европы установилось относительное процветание, а аристократия вновь обрела уверенность в своей способности управлять судьбами государства. Отполированная реаристократизация высшей бюрократии наступала в одной стране за другой, заставляя предшествовавшую эпоху выглядеть наполненной парвеню. Французское регентство и шведская олигархия шляп были наиболее яркими примерами этого феномена. Но он был замечен и в Испании Карла, и даже в Англии Георга или в Голландии эпохи париков, где буржуазные революции на самом деле сделали государство и доминирующий способ производства капиталистическими. В министрах государства, символизирующих этот период, не хватало творческой энергии и суровой силы их предшественников, но они жили в безмятежном мире с собственным классом. Флери или Шуазель, Энсенада или Аранда, Уолпол или Ньюкасл были репрезентативными фигурами той эпохи.

Цивилизованное поведение абсолютистского государства на Западе в эпоху Просвещения отражает эту модель: сокращение неумеренности и утончение техники, некоторое восприятие буржуазного влияния совмещались с общей потерей динамизма и творческих способностей. Крайние злоупотребления, связанные с продажей должностей были пресечены, и бюрократия стала соответственно менее коррумпированной; хотя ценой этого была система общественных займов для обеспечения эквивалентных доходов, заимствованная из наиболее развитых капиталистических стран, которая вскоре начала топить государство накопленными долгами. Меркантилизм по-прежнему проповедовался и практиковался, хотя новые «либеральные» экономические доктрины физиократов, защищавших свободу торговли и инвестиции в сельское хозяйство, ограниченно распространялись во Франции, Тоскане и других местах. Самым важным и интересным изменением в последнее столетие перед Французской революцией был, однако, феномен вне государства. Это было европейское распространение рестрикционизма (*vincolismo*) – лихорадочный поиск аристократией средств для защиты и консолидации большой земельной собственности перед дезинтеграционным давлением и превратностями капиталистического рынка<sup>56</sup>. Английская аристократия после 1689 г. была одной из первых, проложивших этот путь, изобретя «ограниченную передачу», запрещавшую владельцам земли отчуждать семейную собственность и вручавшую права только старшему сыну:

<sup>56</sup> Не существует всестороннего исследования этого феномена. Он мимоходом обсуждается в книге: *Woolf S.J. Studi sulla Nobiltà Piemontese nell' Epoca dell' Assolutismo*. Turin, 1963, которая датирует ее распространение предыдущим веком. Проблеме также затрагивают большинство авторов сборника: *The European Nobility in the 18th Century/A. Goodwin (ed.)*. London, 1953.



две меры, придуманные для того, чтобы заморозить рынок земли в интересах аристократии. Вскоре, одна за другой, главные западные страны создали или улучшили свои собственные варианты закрепления земли за ее традиционными собственниками. *Mayorazgo* в Испании, *morgado* в Португалии, *fideicommissum* в Италии и Австрии и *майорат* в Германии выполняли одну и ту же функцию: сохранить в неприкосновенности огромные владения магнатов и большие латифундии перед угрозой их фрагментации или продажи на открытом коммерческом рынке<sup>57</sup>. Многое в восстановленной стабильности европейской аристократии XVIII в. было, несомненно, обязано экономическому фундаменту этих юридических изобретений. На деле, вероятно, в тот период среди правящего класса было гораздо меньше социальной текучести, чем в предыдущие эпохи, когда семьи и состояния росли и разрушались гораздо быстрее посреди политических и социальных потрясений<sup>58</sup>.

Именно на этом фоне космополитичная культура элиты двора и салона распространилась по Европе, типизированная новым доминированием французского языка в качестве международного языка дипломатического и интеллектуального дискурса. На деле, конечно, под внешним флером эта культура была гораздо глубже проникнута идеями поднимающейся буржуазии, уже нашедшими триумфальное выражение в Просвещении. Особый вес торгового и производящего капитала в большинстве западных общественных формаций поднимался на протяжении этого века, который стал свидетелем второй большой волны торговой и колониальной заморской экспансии. Однако он определял государственную политику только там, где буржуазные революции уже случились, и абсолютизм был свергнут, – в Англии и Голландии. В других местах самым впечатляющим признаком структурной связи позднефеодального государства с его финальной фазой была неизменность военных традиций. Реальная сила войск в основном сравнивалась или немного упала в Западной Европе после Утрехтского мира: физический аппарат войны прекратил расширяться, во всяком случае на суше (на море – другое дело). Но частота войн и их центральное положение в международных отношениях не изменились серьезным образом. На деле, вероятно, больше территорий – классических объектов аристократической военной борьбы – поменяли хозяев за этот век, чем за любой из двух предшествовавших: среди трофеев были Силезия, Неаполь, Ломбардия, Бельгия, Сардиния и Польша. Война «функционировала» в этом смысле вплоть до конца старого режима. Типологически, конечно, кампании европейского абсолютизма были определенным развитием в рамках повторения. Общим детерминантом всех их было феодальное стремление к территории, характерной формой которого являлся династический конфликт начала XVI в. (борьба за Италию Габсбургов и Валуа). На сто лет (1550–1650 гг.) на это наложился религиозный конфликт между силами Реформации и Контрреформации, который никогда не инициировал, но часто обострял

<sup>57</sup> Испанский *mayorazgo* был самым старым из этих изобретений, которому к тому времени было уже более двухсот лет; однако он постепенно увеличивался в количестве и масштабах, дойдя даже до включения движимого имущества. Английская «ограниченная передача» была надеждой менее жесткой, чем общий континентальный подход *fideicommissum*, поскольку формально относился только к одному поколению; однако на практике последующие наследники также должны были согласиться с ним.

<sup>58</sup> Весь вопрос мобильности в классе аристократов, от рассвета феодализма до конца абсолютизма требует большого дальнейшего исследования. В настоящее время можно только строить догадки о сменявших друг друга фазах этой долгой истории. Дюби пишет о своем удивлении, когда он обнаружил, что мнение Блока о существовании радикального разрыва между аристократией времен Каролингов и Средневековья во Франции оказалось ошибочным: на деле, большая доля родов, поставлявших *vassi dominici* IX в., стали баронами XII в. См.: *Duby G. Une Enquete a Poursuivre: La Noblesse dans la France Medievale // Revue Historique. N 226. 1961. P. 1–22.* С другой стороны, Пейрой обнаружил чрезвычайно высокий уровень мобильности среди джентри в графстве Форез начиная с XIII в.: средняя продолжительность аристократического рода составляла 3–4, или, точнее, 3–6 поколений, в основном в связи с высокой смертностью. *Perroy E. Social Mobility among the French Noblesse in the Later Middle Ages // Past and Present. N 21. April 1962. P. 25–38.* В общем, позднее Средневековье и ранний Ренессанс кажутся периодами быстрой смены элит во многих странах, в ходе которой большая часть средневековых домов исчезла. Это верно для Англии и Франции, хотя, вероятно, менее верно – для Испании. Стабилизация рядов аристократии, кажется, завершилась к концу XVII в., после того как последняя и наиболее жестокая перетряска всего, в Богемии Габсбургов во время Тридцатилетней войны, подошла к концу. Однако этот предмет еще может подкинуть нам сюрпризов.

геополитическое соперничество и предлагал ему современный идеологический язык. Тридцатилетняя война была самой большой и последней из этих «смешанных» битв<sup>59</sup>. Ее быстро сменил первый из совершенно новых по типу военных конфликтов в Европе, который шел за другие цели и другими способами – англо-голландские торговые войны 1650-1660-х гг., в которых практически все сражения были морскими. Эта конфронтация, однако, ограничивалась двумя европейскими государствами, которые прошли через буржуазные революции, и была, таким образом, строго спором внутри капиталистической системы. Попытка перенять эти цели Кольбером во Франции привела к фиаско в 1670-е гг. Тем не менее, начиная с войны Аугсбургской лиги, торговля была практически всегда дополнительным фактором в главных европейских военных битвах за землю – хотя бы из-за участия в них Англии, чья географическая заморская экспансия была не только полностью торговой по характеру и чья цель была стать мировой колониальной монополией. Отсюда – гибридный характер последних войн XVIII в., в которых две разные эпохи и два разных типа конфликтов противостояли в странной, единой свалке и из которых наиболее ярким примером была Семилетняя война<sup>60</sup>. Это первая в истории война, которая велась по всему земному шару, хотя и в качестве второстепенного события для большинства участников, для которых Манила или Монреаль были перестрелками где-то в глуши по сравнению с Лейтеном или Кунерсдорфом. Ничто лучше не характеризует ослабевшую феодальную проницательность старого режима во Франции, чем его неспособность почувствовать реальные ставки в этих двойных войнах: вместе со своими соперниками он оставался до самого конца нацеленным на традиционную борьбу за землю.

---

<sup>59</sup> См. *Koenigberger H. G. The European Civil War//The Habsburgs in Europe. Ithaca, 1971– P 219–285.*

<sup>60</sup> Научно обоснованный общий анализ Семилетней войны см.: *Dorn W. L. Competition for Empire. P. 318–384.*

### 3. Испания

Таков был общий характер абсолютизма на Западе. Однако государства, возникшие в разных странах ренессансной Европы, нельзя свести к единому чистому типу. Они демонстрировали разные варианты, которые имели решающее влияние на последующую историю этих стран, ощущаемое до наших дней. Поэтому обзор этих вариантов является необходимым дополнением к рассуждению об общей структуре западного абсолютизма. Испания, первая великая держава современной Европы, представляет собой логическую точку старта.

Подъем Габсбургской Испании был не просто одним из эпизодов в серии современных и эквивалентных опытов строительства государств в Западной Европе; он явился также дополнительным фактором в формировании всей серии как таковой. Таким образом, он занимает качественно отличное место в общем процессе «абсолютизации». Влияние и воздействие испанского абсолютизма было в прямом смысле «чрезмерным» по сравнению с другими западными монархиями того периода. Его влияние на международные дела было наиболее сильным фактором везде на континенте в связи с непропорциональным богатством и силой, находившимися в его распоряжении: историческая *концентрация* этих ресурсов в Испанском государстве не могла не повлиять на общую конфигурацию и развитие государственной системы Запада. Испанская монархия была обязана своим превосходством комбинации двух ресурсных комплексов, которые сами по себе являлись неожиданной проекцией обычных составных частей поднимавшегося абсолютизма на исключительный масштаб. С одной стороны, правящий дом получил больше выгод, чем любой другой в Европе от заключения династических браков. Связи семейства Габсбургов привели Испанское государство к таким территориальным приобретениям и влиянию в Европе, с которыми не могла тягаться ни одна соперничавшая монархия, являя собой высший пример феодального механизма политической экспансии. С другой стороны, колониальное завоевание Нового Света снабдило ее сверхизобилием драгоценных металлов, создав казну, превосходившую пределы возможного для любого из соперников. Организованное и управлявшееся старыми сеньориальными структурами разграбление обеих Америк было в то же время и самым впечатляющим актом первоначального накопления европейского капитала в эпоху Возрождения. Испанский абсолютизм, таким образом, приобретал силу как в результате феодального расширения в Европе, так и от извлекаемого заморского капитала. Конечно же, никогда не возникал вопрос о том, каким социальным и экономическим интересам служил политический аппарат испанской монархии. Ни одно другое абсолютистское государство в Западной Европе не было настолько аристократичным по своему характеру или таким враждебным буржуазному развитию. Само везение, отдавшее ему контроль над шахтами в Америке, с их примитивной, но выгодной экономикой добычи, отбило желание способствовать росту мануфактур или заботиться о распространении торговых предприятий в рамках своей европейской империи. Вместо этого оно обрушивалось всем своим весом на самые активные коммерческие общества континента и, одновременно, угрожало всем остальным в цикле межаристократических войн, которые продолжались 150 лет. Испанская мощь задушила жизненную силу городов Северной Италии и сокрушила процветающие города половины Нидерландов – две самые развитые зоны европейской экономики на рубеже XVI в. Голландия в конечном счете избежала ее контроля в долгой борьбе за буржуазную независимость. В тот же самый период Испания поглотила королевства Южной Италии и Португалию. Франция и Англия подвергались испанским атакам, а княжества Германии – неоднократным набегам кастильских *терций*. В то время как испанские флоты бороздили Атлантику или патрулировали Средиземноморье, испанские армии маршировали по большей части Западной Европы: от Антверпена до Палермо и от Регенсбурга до Кинсейла. Угроза доминирования Габсбургов, однако, в конце концов ускорила реакцию и укрепила защиту династий, выстроенную против

них. Приоритет Испании отвел Габсбургской монархии системообразующую роль в западном абсолютизме. Однако он также, как мы увидим, критически ограничил возможности самого испанского абсолютизма внутри системы, которую он помог создать.

\* \* \*

Испанский абсолютизм был рожден от союза Кастилии и Арагона, созданного свадьбой Изабеллы I и Фердинанда II в 1469 г. Он опирался на прочный экономический фундамент. Во времена дефицита рабочей силы, ставшего результатом общего кризиса западного феодализма, все больше регионов Кастилии начали развивать прибыльную шерстяную экономику, которая сделала ее «Австралией Средневековья»<sup>61</sup> и главным партнером фламандской торговли; Арагон же к тому времени был одной из ведущих территориальных и торговых держав Средиземноморья, контролировавшей Сицилию и Сардинию. Политический и военный динамизм нового дуалистического государства был вскоре проявлен в драматической серии широких внешних завоеваний. Последний оплот мавров – Гранада – был разрушен, и Реконкиста завершена; Неаполь аннексирован; Наварра поглощена; и, сверх всего, была открыта и подчинена Америка. Семейство Габсбургов вскоре присоединило к своим владениям Милан, Франш-Конте и Нидерланды. Эта внезапная лавина успехов сделала Испанию первой державой Европы на весь XVI в., вознеся ее на такое положение, которого ни один континентальный абсолютизм так и не смог впоследствии достичь. И все же государство, руководившее этой обширной империей, было само по себе ветхой конструкцией, объединенной единственно персоной монарха. Испанский абсолютизм, внушавший трепет северным протестантам за границей, был в действительности чрезвычайно мягким и ограниченным в своем домашнем варианте. Его внутренние связи были необычайно свободными. Причины этого парадокса надо, бесспорно, искать в любопытных треугольных отношениях между американской империей, европейской империей и Иберийской метрополией.

Составные королевства Кастилии и Арагона, объединенные Фердинандом и Изабеллой, представляли собой чрезвычайно разнородную основу для конструирования новой испанской монархии в конце XV в. Кастилия была страной, в которой существовала аристократия, обладавшая огромными владениями, и сильные военные ордены; там также существовало множество городов, хотя – и это важно – не было еще определенной столицы. Кастильская аристократия отобрала значительную аграрную собственность у монархии во время гражданских войн позднего Средневековья; 2–3% населения теперь контролировали около 97 % земель, более половины которых, в свою очередь, принадлежали немногим семействам магнатов, вышедшим над многочисленным дворянством *идальго*<sup>62</sup>. Выращивание зерна в этих огромных поместьях постепенно уступило место разведению овец. Шерстяной бум, ставший источником богатства многих аристократических домов, стимулировал в то же время рост городов и внешнюю торговлю. Кастильские города и кантабрийское судоходство выиграли от процветания пасторальной экономики позднесредневековой Испании, связанной комплексной коммерческой системой с текстильной промышленностью Фландрии. Таким образом, с самого начала экономические и демографические особенности Кастилии в Союзе давали ей преимущество: с населением численностью примерно 5–7 миллионов и оживленной заморской торговлей с Северной Европой, она легко становилась доминирующим государством на полуострове. Политически ее государственное устройство было любопытным образом не определено. Кастилия-Леон – одно из первых средневековых королевств в Европе, в котором в XIII в. развилась система сословий; тогда как к середине XV в. фактическое господство аристократии

---

<sup>61</sup> Фраза принадлежит Висенсу: См.: *Viceng Vives J. Manual de Historia Economica de Espana. Barcelona, 1974. P. 11–12, 231.*

<sup>62</sup> См. *Elliott J.H. Imperial Spain, 1469–1716. London, 1970. P. 111–113.*

над монархией имело большие перспективы. Однако власть позднесредневековой аристократии не приобрела никакой юридической формы. Кортесы фактически оставались ассамблеей, созывавшейся по случаю и с неопределенными полномочиями; вероятно, из-за мигрирующего характера кастильского королевства, которое сдвигалось на юг и по мере этого перетасовывало свою общественную модель, там так и не возникло твердой и фиксированной институционализации системы сословий. Таким образом, созыв и состав кортесов был предметом произвольного решения монархии, в результате чего сессии созывались нерегулярно, а постоянная трехкуриальная система по-прежнему отсутствовала. С одной стороны, кортесы не имели полномочий инициировать законодательство, с другой – аристократия и духовенство сохраняли фискальный иммунитет. В результате возникла система сословного представительства, в которой только города должны были платить налоги, за которые проголосовали кортесы. Аристократия, таким образом, не имела прямой экономической заинтересованности в своем участии в кастильском сословном представительстве, которая была сравнительно слабым и изолированным институтом. Аристократический корпоративизм находил выражение в богатых и грозных военных орденах (Калатрава, Алькантара и Сантьяго), созданных крестоносцами; однако им по самой природе не хватало коллективной власти благородного сословия.

Экономический и политический характер королевства Арагон<sup>63</sup> находился в резком контрасте с вышеописанным. Внутренние области Арагона прятали наиболее репрессивную сеньориальную систему на Иберийском полуострове; местная аристократия пользовалась всем спектром феодальной власти в бесплодной сельской местности, в которой все еще существовало крепостное право и крестьяне-*мориски* возделывали ее для своих хозяев-христиан. Каталония, с другой стороны, традиционно была центром торговой империи на Средиземном море: Барселона была крупнейшим городом средневековой Испании, и ее городской патрициат был богатейшим коммерческим классом в регионе. Каталонское процветание, однако, серьезно пострадало во времена долгой феодальной депрессии. Эпидемии XIV в. ударили по княжеству с особой жестокостью, возвращаясь снова и снова после «черной смерти», уничтожая население, сократившееся в 1365–1497 гг. более чем на треть<sup>64</sup>. Коммерческие банкротства дополнялись агрессивной конкуренцией со стороны Генуи в Средиземноморье, в то время как мелкие торговцы и ремесленные гильдии бунтовали против городских патрициев. В сельской местности крестьянство взбунтовалось, чтобы сбросить «дурные традиции» и захватить обезлюдившие земли в ходе восстаний *ременсов* в XV в. Наконец, гражданская война между монархией и аристократией, затянувшая в свой водоворот другие социальные группы, еще более ослабила каталонскую экономику. Ее заморские базы в Италии остались, однако, нетронутыми. Валенсия, третья провинция королевства, находилась в социальной плане посередине между Арагоном и Каталонией. Аристократия эксплуатировала труд *морисков*; торговое сообщество расширялось на протяжении XV в., когда финансовое господство распространялось вниз по побережью от Барселоны. Рост Валенсии, тем не менее, не был достаточной компенсацией за упадок Каталонии. Экономическое неравенство между двумя королевствами союза, созданного браком Фердинанда и Изабеллы, очевидно из того факта, что население трех провинций Арагона, вместе взятых, составляло, вероятно, около 1 миллиона человек – по сравнению с 5–7 миллионами кастильцев. Политический контраст между двумя королевствами был не менее впечатляющим. Арагон обладал, вероятно, самой сложной и укрепленной системой сословного представительства в Европе. Все три провинции (Каталония, Валенсия и Арагон) имели собственные отдельные кортесы. В каждой существовали, в дополнение к ним, специальные наблюдательные институты постоянного юридического контроля и экономического управления, исходящего от кортесов. Каталонский *Diputacio* – постоянный комитет кортесов – являлся наиболее

<sup>63</sup> Арагонское королевство само было союзом трех княжеств: Арагона, Каталонии и Валенсии.

<sup>64</sup> Elliott J.H. Imperial Spain. P. 37.

эффективным примером. Более того, кортесы должны были по статусу собираться через регулярные интервалы и требовали единогласия – изобретение уникальное для Западной Европы. Арагонские кортесы сами содержали проработанную четырехкурральную систему, включавшую магнатов, духовенство, дворянство и бюргеров<sup>65</sup>. В целом этот комплекс средневековых «свобод» создавал чрезвычайно трудную перспективу для создания централизованного абсолютизма. Институциональная асимметрия порядков в Кастилии и Арагоне предопределила все последующее развитие испанской монархии.

Понятно, что Фердинанд и Изабелла выбрали курс на концентрацию и создание непоколебимой королевской власти в Кастилии, где условия для этого были наиболее подходящими. Арагон представлял гораздо более труднопреодолимые препятствия для создания централизованного государства и гораздо менее прибыльную перспективу экономической фискализации. В Кастилии проживало в 5–6 раз больше людей, и их большее богатство не было защищено никакими сравнимыми конституционными барьерами. Поэтому два монарха приступили к методичному выполнению программы ее административной реорганизации. Военные ордены были обезглавлены, а их обширные земли и доходы изъяты. Баронские замки были разрушены, маркграфы изгнаны, и частные войны запрещены. Муниципальная автономия городов была ликвидирована путем назначения *коррехидоров* для управления ими; королевская юстиция была усилена и расширена. Контроль над доходами Церкви был передан государству, а местный церковный аппарат лишен прямого выхода на Папский престол. Кортесы были постепенно приручены, когда после 1480 г. аристократия и духовенство просто перестали приглашаться на их заседания. Поскольку главным поводом для их созыва было поднятие налогов для финансирования военных расходов (прежде всего на Гранадскую и Итальянскую войны), от которых первые два сословия были избавлены, у них не было причин протестовать против своего исключения. Налоговые поступления выросли впечатляюще: кастильские доходы поднялись с примерно 900 тысяч реалов в 1474 г. до 26 миллионов в 1504 г.<sup>66</sup> Королевский совет был реформирован и избавлен от влияния магнатов; новый орган был заполнен юристами-бюрократами или *летрадос*, рекрутированными из мелкопоместного дворянства. Профессиональные секретари, работавшие напрямую с монархами, руководили повседневными делами. Другими словами, кастильская государственная машина была рационализирована и модернизирована. Однако новая монархия никогда не противопоставляла ее классу аристократии в целом. Высшие дипломатические и военные должности были всегда зарезервированы за магнатами, которые оставались вице-королями и губернаторами, в то время как дворяне низших рангов заполняли должности *коррехидоров*. Королевские владения, захваченные после 1454 г., были возвращены монархии, однако большинство тех, что были присвоены ранее, остались в руках аристократии; новые поместья в Гранаде прибавились к их владениям, и был подтвержден *mayorazgo*, закреплявший неприкосновенность сельскохозяйственной собственности. Более того, широкие привилегии были предоставлены сельским интересам шерстяного картеля *Места*, в котором доминировали южные латифундисты; в то время как дискриминационные меры против зернового производства в итоге закрепили розничные цены на зерно. В городах удушающая система гильдий была навязана новорожденной городской промышленности, а религиозные преследования новообращенных (*converses*) привели к исходу еврейского капитала. Все эти политические меры проводились в Кастилии с большой энергией и решимостью.

<sup>65</sup> Дух арагонского конституционализма выражается в тексте присяги на верность, приписываемой тамошней аристократии: «Мы, которые равны тебе, клянемся тебе, который не лучше нас, признать тебя нашим королем и сувереном, при условии что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы; а если нет, то нет». Сама формула, вероятно, просто легенда, но ее дух присутствовал в институтах Арагона.

<sup>66</sup> Деятельность Фердинанда и Изабеллы в Кастилии описана в: Elliot J.H. Imperial Spain. P. 86–99.

В Арагоне, с другой стороны, не было предпринято даже попыток осуществить политическую программу сравнимых масштабов. Здесь, напротив, самым большим достижением Фердинанда, было общественное примирение и восстановление позднесредневекового государственного устройства. Крестьяне *ременса* получили в конце концов свободу от крепостных повинностей в «Гвадалупской сентенции» 1486 г., что уменьшило недовольство в деревне. Доступ в каталонскую *Diputacio* был расширен путем введения жеребьевки. Во всем остальном правление Фердинанда однозначно подтвердило отдельную идентичность Восточного королевства: каталонские свободы были в полном объеме признаны в *Observancia* 1481 г., и дополнительные меры защиты от королевского вмешательства были добавлены к уже существовавшему арсеналу противостояния любой форме монархической централизации. Редко бывавший в родной стране Фердинанд назначил вице-королей во все три провинции для осуществления власти и создал Совет Арагона, в основном размещавшийся в Кастилии, для общения с ними. В результате Арагон был предоставлен своим собственным механизмам управления; даже производители шерсти – всемогущие на другом берегу Эбро – не смогли получить санкцию на перегон овец через его сельскохозяйственные земли. Поскольку Фердинанд был обязан торжественно подтвердить все его привилегии, не возникало и вопроса об административном объединении Арагона и Кастилии. Католические величества не только не создали по-настоящему единого королевства, но и не смогли даже ввести общую денежную единицу<sup>67</sup>, не говоря уже об общей налоговой или правовой системе в своих королевствах. Инквизицию – уникальный для Европы феномен – надо рассматривать именно в этом контексте: она была единственным объединенным «испанским» институтом на полуострове, перегруженным идеологическим аппаратом, компенсировавшим административное разделение и рассредоточение государства.

Восшествие на престол Карла V осложнило, но не изменило заметным образом эту модель; пожалуй, оно лишь подчеркнуло ее. Непосредственным результатом прихода суверена-Габсбурга стал новый и очень космополитичный двор, в котором доминировали фламандцы, бургундцы и итальянцы. Финансовое вымогательство нового режима вскоре спровоцировало волну интенсивной народной ксенофобии в Кастилии. Отъезд самого монарха в Северную Европу стал сигналом к широкому городскому мятежу против того, что ощущалось как узурпация иностранцами кастильских ресурсов и позиций. Восстание *коммунеро* в 1520–1521 гг. получило первоначальную поддержку от многих городских аристократов и апеллировало к традиционному набору конституционных требований. Однако его движущей силой были массы ремесленников в городах, а его лидерами – представители городской буржуазии северной и центральной Кастилии, торговые и мануфактурные центры которой испытали экономический бум в предшествовавший период<sup>68</sup>. Они почти не нашли поддержки в сельской местности, ни среди крестьян, ни среди сельской аристократии; движение серьезно не повлияло на регионы, где города были немногочисленными или слабыми, – Галицию, Андалузию, Эстремадуру или Гвадалахару. «Федеративная» или «протонациональная» программа революционной Хунты, созданной кастильскими коммунами во время восстания, выдавала его как мятеж третьего сословия<sup>69</sup>. Его разгром королевскими армиями, которые поддержала аристократия, как только радикализм восставших стал очевиден, был критически важным шагом на пути к консолидации испанского абсолютизма. Подавление восстания *коммунеро* практически уничтожило последние остатки договорной конституции в Кастилии и приговорило кортесы – для которых *коммунеро* требовали регулярного созыва раз в три года – к небытию. Значительно важным, однако, был факт, что наиболее серьезной победой Испанской монархии над

<sup>67</sup> Единственным шагом к монетарной унификации была чеканка трех золотых монет высокого номинала и одинаковой стоимости в Кастилии, Арагоне и Каталонии.

<sup>68</sup> См.: Maravall J. A. Las Comunidades de Castilla. Una Primera Revolucion Moderna. Madrid, 1963. P. 216–222.

<sup>69</sup> См. Ibid. P. 44–45, 56–57, 156–157.

организованным сопротивлением королевскому абсолютизму в Кастилии – вернее, его единственным настоящим военным противостоянием оппозиции в этом королевстве – был военный разгром городов, а не аристократии. Нигде больше в Западной Европе ничего подобного с новорожденным абсолютизмом не произошло: обычной моделью было подавление аристократического, а не буржуазного сопротивления, даже в тех случаях, когда они тесно переплетались. Триумфальная победа над кастильскими коммунами в самом начале существования испанской монархии предопределила отличие ее дальнейшего пути от других западных стран.

Самым впечатляющим достижением времен правления Карла V было, конечно же, значительное расширение международной орбиты Габсбургов. В Европе к наследственным землям правителей Испании отошли Нидерланды, Франш-Конте и Милан, в то время как в Америке были завоеваны Мексика и Перу. В течение всей жизни императора вся Германия была театром военных действий из-за этих наследственных владений. Территориальная экспансия усилила стремление молодого абсолютистского государства в Испании к передаче управления разными династическими владениями отдельным советам и вице-королям. Канцлер Карла V пьемонтец Меркурио Гаттинара, вдохновленный универсалистскими идеями Эразма, боролся за создание более компактной и эффективной исполнительной власти для громоздкой империи Габсбургов, создав для нее унитарные институты министерского типа – Совет финансов, Военный совет и Государственный совет (последний теоретически должен был стать вершиной всего имперского здания), отвечавший за все регионы империи. Их поддерживал растущий постоянный секретариат гражданских служащих в распоряжении монарха. В то же самое время постепенно формировалась новая серия территориальных советов, причем сам Гаттинара создал первый из них для управления Индиями. К концу века существовало уже не менее шести таких региональных Советов: для Арагона, Кастилии, Индий, Италии, Португалии и Фландрии. Кроме Кастильского, ни один из них не был в достаточной степени укомплектован местными чиновниками, и вся административная работа была доверена вице-королям, которых издали контролировали и которыми, часто неумело, управляли эти Советы<sup>70</sup>. Власть вице-королей была, в свою очередь, очень ограничена. Только в Америке у них в подчинении была собственная бюрократия, но зато коллегии судей (*audiencias*) отобрали у вице-королей судебную власть, которой они пользовались в других регионах; в то же время в Европе им надо было договариваться с местной аристократией (сицилийской, валенсианской или неаполитанской), которая обычно претендовала на монополию на занятие публичных должностей. В результате любая настоящая унификация как в рамках огромной империи, так и на самом Иберийском полуострове была заблокирована. Америки были юридически прикреплены к королевству Кастилия, Южная Италия – к Арагону. Атлантическая и средиземноморская экономика не встречались в рамках одной коммерческой системы. Разделение между двумя оригинальными королевствами Союза внутри Испании было на практике усилено заморскими владениями теперь присоединенными к ним. Для юридических целей Каталония могла бы быть просто приравнена по статусу к Сицилии или Нидерландам. В самом деле, к XVII в. власть Мадрида в Неаполе или Милане была выше, чем в Барселоне или Сарагосе. Само разрастание Габсбургской империи, таким образом, переросло ее способности к интеграции и предотвратило процесс административной централизации в самой Испании<sup>71</sup>.

<sup>70</sup> Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. Oxford, 1969. P. 19–20.

<sup>71</sup> Маркс разбирался в парадоксе габсбургского абсолютизма в Испании. После заявления, что «вот тогда-то исчезли испанские вольности под звон мечей, в потоках золота и в зловещем зареве костров инквизиции», он задал вопрос: «Как же объяснить то странное явление, что после почти трех столетий владычества династии Габсбургов, а вслед за ней династии Бурбонов – каждой из этих династий в отдельности было бы достаточно, чтобы раздавить народ, – муниципальные вольности Испании до известной степени сохранились? Как объяснить, что в той стране, где раньше, чем где-либо в другом феодальном государстве, возникла абсолютная монархия в самом чистом виде, централизация так и не смогла укорениться?» (Маркс К., Энгельс Ф. Революционная Испания // Соч. 2-е изд. Т. 10.) Он, однако, не дал адекватного ответа на это вопрос.



В то же время правление Карла V дало старт роковой последовательности европейских войн, которые стали ценой испанского господства на континенте. На южном театре своих бесчисленных кампаний Карл достиг ошеломляющего успеха: именно в то время Италия стала управляться испанцами, Франция была изгнана с полуострова, Папский престол запуган, а турецкая угроза отброшена. С того времени самое развитое городское общество в Европе стало военной базой испанского абсолютизма. На северном театре своих военных действий, однако, император зашел в дорогостоящий тупик: Реформация осталась непобежденной в Германии, несмотря на повторявшиеся попытки сокрушить ее, а наследственные враги Валуа пережили все поражения Франции. Более того, финансовое бремя постоянной войны на Севере серьезно деформировало традиционную лояльность Нидерландов к концу правления Карла, подготовив несчастья, которые ожидали в Нижних Землях Филиппа II. Размеры и стоимость армий Габсбургов постоянно и стремительно росли на протяжении всего правления Карла V. До 1529 г., испанские войска в Италии никогда не насчитывали более 30 тысяч человек, в 1536–1537 гг. на войну с Францией было мобилизовано 60 тысяч солдат, к 1552 г. под командой императора находилось уже, вероятно, 150 тысяч человек<sup>72</sup>. Финансовые заимствования и налоговый пресс выросли соответственно: доходы Карла V утроились ко времени его отречения в 1556 г.<sup>73</sup>, однако королевские долги были настолько внушительными, что через год его наследником было объявлено банкротство государства. Испанская империя в Старом Свете, унаследованная Филиппом II, всегда административно разделенная, становилась экономически несостоятельной к середине века: именно Новый Свет обновил ее казну и продлил ее раскол.

Начиная с 1560-х гг. влияние американской империи на испанский абсолютизм все более определяло ее будущее, хотя важно не смешивать разные уровни, на которых этот эффект работал. Открытие рудников в Потоси чрезвычайно увеличило поток колониального золота в Севилью. Поставка большого количества серебра из обеих Америк, начиная с этого времени, стало решающим ресурсом (*facility*) испанского государства. Она обеспечила испанский абсолютизм изобильным и постоянным чрезвычайным доходом, выходящим за рамки обычного дохода европейских государств. Это означает, что абсолютизм в Испании мог долгое время продолжать обходиться без медленной налоговой и административной унификации, которая была предварительным условием абсолютизма в других странах. Упрямое непокорство Арагона компенсировалось безграничным согласием Перу. Колонии, другими словами, работали структурными заместителями провинций, в политической системе, где традиционные провинции были замещены автаркическими вотчинами. Ничто сильнее не иллюстрирует это положение, чем совершенное отсутствие сколько-нибудь пропорционального вклада в испанские военные усилия в Европе в конце XVI–XVII в. со стороны Арагона и даже Италии. Кастилия вынуждена была нести бремя налогов на бесконечные военные кампании за рубежом практически в одиночку: за ней, буквальным образом, лежали рудники Индии. Общая доля американской дани в испанском имперском бюджете была, конечно, намного меньше, чем в то время предполагали завистники: в разгар плаванья «золотых кораблей», колониальное золото составляло всего лишь около 20–25 % доходов<sup>74</sup>. Большую часть остальных доходов Филиппа II доставляли домашние кастильские налоги: традиционный налог с продаж (*алькабала*), особые *servicio*, налагаемые на бедных, *cruzada*, собираемая с санкции Церкви с духовенства и мирян, облигации (*juros*), продававшиеся богатым. Американские драгоценные металлы, однако, играли свою роль в поддержании налоговой базы государства Габсбургов. Чрезвычайно высокий уровень налогов следующих правлений, косвенно поддержанный частным переводом

<sup>72</sup> Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge, 1972. P. 6.

<sup>73</sup> Cm. Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. I. P. 128. Цены, конечно, тоже сильно выросли за это время.

<sup>74</sup> Elliott J.H. The Decline of Spain // Past and Present. N 20. November 1961; также в: Crisis in Europe, 1560–1660/T. Aston (ed.). P. 189; Imperial Spain. P. 285–286.

золота в Кастилию, объем которого был в среднем вдвое выше, чем от общественных доходов<sup>75</sup>; заметный успех *juros* как изобретения для изъятия финансов (первое широко распространенное использование таких облигаций абсолютной монархией в Европе) частично объяснялось его способностью открыть этот новый денежный кран. Более того, колониальный рост королевских доходов сам по себе был достаточно убедительным, чтобы влиять на испанскую внешнюю политику и на природу испанского государства. Доходы прибывали в виде звонкой монеты, которую можно было сразу пустить на финансирование движения войск или дипломатические маневры в Европе; они же давали Габсбургам возможность получать такие кредиты на международном финансовом рынке, о которых не мог мечтать ни один другой правитель<sup>76</sup>. Огромные военные и морские операции, которые осуществлял Филипп II, от Ла-Манша до Эгейского моря и от Туниса до Антверпена стали возможными только благодаря чрезвычайной финансовой гибкости, обеспеченной американскими доходами.

В то же самое время влияние американских драгоценных металлов на испанскую экономику, в отличие от ее влияния на кастильское государство, было не менее важным, хотя и в ином отношении. В первой половине XVI в. умеренный уровень их поставки (с большей долей золота) предоставлял стимулы для кастильского экспорта, быстро откликнувшегося на инфляцию, вызванную появлением колониальных сокровищ. Поскольку 60–70 % этого золота, которое не попадало напрямую в королевский кошелёк, надо было покупать как обычный товар у местных американских предпринимателей, торговля с колониями, особенно текстилем и вином, бурно развивалась. Монопольный контроль над этим захваченным рынком первоначально приносил прибыль кастильским производителям, которые могли торговать на нем по инфляционным ценам, хотя потребители на родине вскоре стали громко роптать на выросшую стоимость жизни<sup>77</sup>. Однако для кастильской экономики в целом в этом процессе было два фатальных поворота. Сначала выросший колониальный спрос привел к дальнейшему переводу земель с производства зерновых на вино и оливки. Это усилило уже катастрофическую тенденцию, поощрявшуюся монархией, к сокращению производства пшеницы за счет шерсти: испанская шерстяная промышленность, в отличие от английской, была не фермерской, а перегонной, а потому чрезвычайно разрушительной для обрабатываемой земли. В результате этого двойного давления Испания стала главным импортером зерна к 1570-м гг. Структура кастильского сельского общества уже к этому времени была не похожа ни на одну другую страну в Западной Европе. Зависимые держатели и крестьяне были меньшинством в сельской местности. В XVI в. более половины сельского населения Новой Кастилии (вероятно, 60–70 %) были сельскохозяйственными рабочими или *jornaleros*<sup>78</sup>, а в Андалузии их доля была, видимо, еще выше. Деревни страдали от массовой безработицы и тяжелой феодальной ренты на землях сеньора. Самым поразительным фактом было то, что испанские переписи 1571 и 1586 гг. показывают нам общество, в котором лишь около  $\frac{1}{3}$  мужского населения занято в сельском хозяйстве; тогда как не менее чем  $\frac{2}{5}$  вообще не принимают прямого участия в производстве, создавая преждевременный и раздутый «третичный сектор» абсолютистской Испании, который предопределил будущий вековой застой<sup>79</sup>. Но общий ущерб, нанесенный колониальными доходами, не был ограничен сельским хозяйством, доминирующей отраслью производства того времени, ибо ввоз золотых слитков из Нового Света был также причиной паразитизма, который во всевозрастающей степени иссушал и задерживал развитие отечественных мануфактур. Ускоренная инфля-

<sup>75</sup> Линч четко сформулировал это утверждение: Spain under the Habsburg. Vol. I. P. 129.

<sup>76</sup> См. Vilar P. Oro y Moneda en la Historia, 1450–1920. Barcelona, 1969. P. 78, 165–168.

<sup>77</sup> См. Ibid. P. 180–181.

<sup>78</sup> См. Salomon N. La Campagne de Nouvelle Castille a la Fin du XVIe Siecle. Paris, 1964. P. 257–258, 266.

<sup>79</sup> Португальский историк первым отметил значение этой необычной структуры занятости, которая, по его мнению, была характерна и для Португалии:

ция увеличивала стоимость производства текстильной промышленности, функционировавшей в рамках очень жестких технических ограничений, до того момента, когда кастильская одежда была вытеснена как с отечественного, так и с колониального рынка. Голландские и английские контрабандисты начали снимать сливки с американского спроса, а более дешевые иностранные товары завоевали саму Кастилию. Кастильский текстиль пал к концу века жертвой боливийского серебра. Тогда поднялся крик: *Espana son las Indias del extraniero!*: Испания стала Америкой в Европе, колониальной свалкой для иностранных товаров. Таким образом, как сокрушалось множество современников, и аграрная, и городская экономики сгорели в конце концов в пламени американских сокровищ,<sup>80</sup>. Производительный потенциал Кастилии был подорван той самой империей, которая закачивала ресурсы в военный аппарат государства для беспрецедентных авантур за рубежом.

И все же существовала связь между двумя этими эффектами. Если американская империя несла гибель испанской экономике, то именно европейская империя разрушила государство Габсбургов и первая сделала продолжительную борьбу за вторую финансово возможной. Без золотых поступлений в Севилью колоссальные военные усилия Филиппа II были бы невысказаны. Однако именно эти усилия уничтожили изначальную структуру испанского абсолютизма. Долгое правление Благоразумного короля, занявшее всю вторую половину XVI в., не было само по себе однообразным перечнем внешнеполитических неудач, несмотря на огромные расходы и изнурительные неудачи на международной арене. Его основная схема была, на деле, неотличима от той, что преследовала Карла V: успех на Юге, поражение на Севере. В Средиземноморье турецкая военно-морская экспансия была окончательно остановлена в сражении при Лепанто в 1571 г., победа, которая с тех пор ограничила действия оттоманского флота домашними водами. Португалия была мягко включена в Габсбургский блок путем династической дипломатии: ее включение в империю повлекло за собой присоединение многочисленных лузитанских владений в Азии, Африке и Америке к испанским колониям в Индиях. Собственные испанские имперские владения были расширены завоеванием Филиппин на Тихом океане – с точки зрения логистики и культуры самая дерзкая колонизация своего века. Военный аппарат испанского государства постепенно оттачивал навыки и эффективность, так что его система организации и снабжения стала самой передовой в Европе. Традиционное желание кастильских *идальго* служить в *терциях* укрепляло ее пехотные полки<sup>81</sup>, в то время как итальянские и валлонские провинции были надежным источником солдат, если не налогов, для международной политики Габсбургов; важно, что многонациональный контингент габсбургских армий сражался лучше на чужой земле, чем на родной, и сама его разнородность позволяла гораздо в меньшей степени полагаться на внешних наемников. Впервые в современной Европе большие постоянные армии успешно содержались на большом расстоянии от имперской родины на протяжении десятилетий. Начиная с прибытия Альбы и до самого окончания Восьмидесятилетней войны с голландцами<sup>82</sup> армия Фландрии насчитывала в среднем 65 тысяч человек – беспрецедентное достижение<sup>83</sup>. С другой стороны, постоянное размещение этих войск в Нидерландах создало само поменяло ход истории. Голландия, роптавшая от недовольства из-за непомерных налогов и религиозных преследований Карла V, взорвалась, сотворив первую буржуазную революцию в истории, в результате давления Тридентского

<sup>80</sup> О реакции современников к концу XVII в. см. превосходную статью Вилара: Vilar. Le Temps du Quichotte //Europe. Vol. XXXIV. 1956. P. 3–16.

<sup>81</sup> Характерно замечание герцога Альбы: «Для нашего народа ничего нет более важного, чем отдать благородных и состоятельных людей в пехоту, чтобы не оставлять все в руках работников и лакеев». Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge, 1972. P. 41.

<sup>82</sup> Восьмидесятилетняя война – Нидерландская буржуазная революция, длившаяся с 1568 по 1648 г. Прибытие герцога Альбы в 1567 г. и его жесткая политика послужили последним толчком к восстанию. – Прим. пер.

<sup>83</sup> Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road. P. 27–31.

централизма Филиппа II. Мятеж Нидерландов представлял собой прямую угрозу жизненным испанским интересам, поскольку две экономики, близко связанные со времен Средневековья, в значительной степени взаимно дополняли друг друга: Испания экспортировала шерсть и золото в Нижние земли, и импортировала текстиль, металлические изделия, зерно и шкиперские инструменты. Более того, Фландрия обеспечивала стратегическое окружение Франции и была, таким образом, осью габсбургского международного господства. И все же, несмотря на огромные усилия, испанская военная мощь оказалась неспособной сломить сопротивление Соединенных Провинций. Более того, вооруженное вмешательство Филиппа II в религиозные войны во Франции и его морская атака на Англию – две попытки расширения первоначального театра военных действий во Фландрии – были отбиты: гибель Армады и восхождение на трон Генриха IV стали знаком двойного поражения его политики на Севере. И все же международный баланс к концу его правления все еще очевидно внушительно склонялся в сторону Испании – опасным образом для его преемников, которым он завещал ощущение неуменьшенной континентальной мощи. Южные Нидерланды были отвоеваны и укреплены. Лузитано-Испанский флот был быстро восстановлен после 1588 г. и успешно отбивал английские нападения на маршруты атлантического золота. Французская монархия отказалась наконец от протестантизма.

Дома, однако, наследие Филиппа II на рубеже XVII в. было более мрачным. Кастилия теперь впервые имела постоянную столицу в Мадриде, где размещалось центральное правительство. Совет государства, в котором доминировали магнаты, рассматривавшие важнейшие вопросы политики, получил противовес в виде королевского секретариата, где исполнительные юристы-функционеры обеспечивали монарха-бюрократа понятными ему инструментами управления. Административная унификация династических владений, однако, не была последовательной. Абсолютистские реформы проводились в Нидерландах, где они привели к разгрому, и в Италии, где они добились умеренного успеха. На самом Иберийском полуострове, по контрасту, не предпринималось даже никаких попыток в этом направлении. Португальская конституционная и правовая автономия скрупулезно уважалась; кастильское вмешательство не нарушало традиционных порядков западного королевства. В восточных провинциях арагонский партикуляризм провоцировал короля, вооруженным путем защищая его беглого секретаря Антонио Переса от королевской юстиции: в 1591 г. армия подавила этот вопиющий мятеж, но Филипп воздержался от постоянной оккупации Арагона или от серьезного изменения его конституции<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Филипп II ограничился тем, что сократил полномочия местных *Diputacio* (в которых было отменено правило единогласия) и должности *Justicia* и назначил в Арагон неместных вице-королей.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.